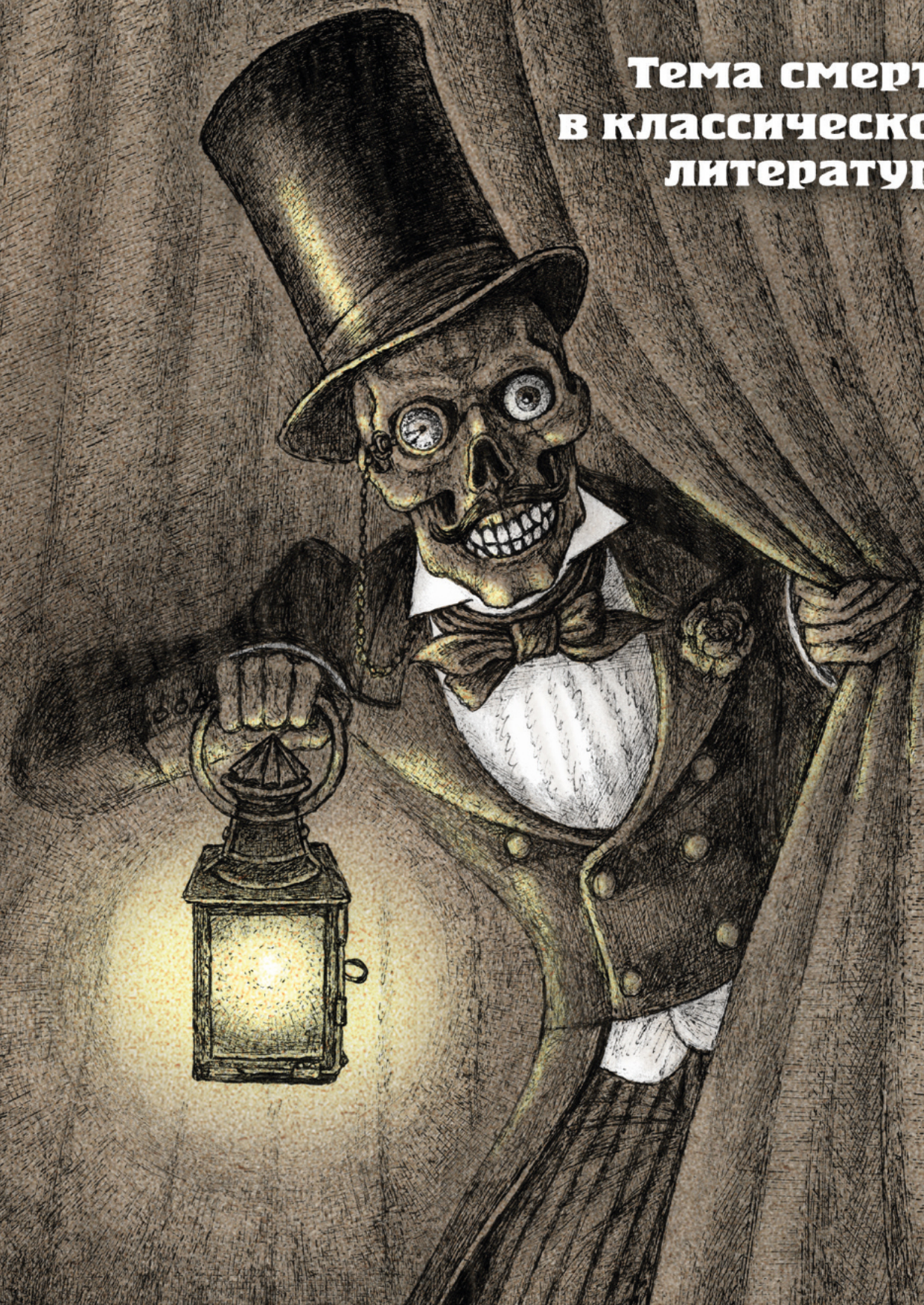


Тайна Смерти

Тема смерти
в классической
литературе



Коллектив авторов

**Тайна смерти. Тема смерти
в классической литературе**

Издательский дом «Городец»

Коллектив авторов

Тайна смерти. Тема смерти в классической литературе /
Коллектив авторов — Издательский дом «Городец»,

Художественно-мистическое осмысление понятия «смерть» — одна из ключевых тем классической литературы с древних времен и до настоящего времени, так как затрагивает фундаментальные вопросы человеческого существования: смысл жизни, противопоставление жизни и смерти, страх перед неизвестностью, трагедию утраты и память об ушедших. Литература — одна из наиболее значимых культурных составляющих. Свидетельства трагического переживания человеком события смерти, созданные мастерами классической литературы, в силу мощности своего воздействия на обыденное сознание способны приоткрыть завесу тайны, помочь в осмыслении феномена смерти.

Содержание

Николай Бердяев	7
Федор Достоевский	8
Записки одного лица	9
Иван Нургенев	21
Антон Чехов	29
Иван Бунин	34
Преображение	34
Святитель	39
Лев Карсавин	41
Как бы личное	44
Бессилие	50
Израиль	55
Распятый	61
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Тайна смерти

Тема смерти в классической литературе

© Е. Пучкова, Н. Федорова, Г. Шокин, перевод, 2026

© В. Денисова, иллюстрации, обложка, 2026

© ИД «Городец», 2026

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

@ Электронная версия книги подготовлена ИД «Городец» (<https://gorodets.ru/>)



Николай Бердяев

Смерть и бессмертие

Отрывок из работы «О назначении человека»

Смерть нельзя понимать только как последнее мгновение жизни, после которого наступает или небытие, или загробное существование. Смерть есть явление, распространяющееся на всю жизнь. Наша жизнь наполнена смертью, умиранием. Жизнь есть непрерывное умирание, изживание конца во всем, постоянный суд вечности над временем. Жизнь есть постоянная борьба со смертью и частичное умирание человеческого тела и человеческой души. Смерть внутри нашей жизни порождается невозможностью вместить полноту во времени и в пространстве. Время и пространство смертоносны, они порождают разрывы, которые являются частичным переживанием смерти. Когда во времени умирают и исчезают человеческие чувства, то это есть переживание смерти. Когда в пространстве происходит расставание с человеком, с домом, с городом, с садом, с животным, сопровождающееся ощущением, что, может быть, никогда их больше не увидишь, то это есть переживание смерти. Тоска всякого расставания, всякого разрыва во времени и пространстве, есть тоска смерти. Я помню мучительный опыт тоски, которую я переживал мальчиком при всяком расставании. Это носило столь всеобъемлющий характер, что тоска смерти переживалась мною оттого, что я никогда больше не увижу лица постороннего и чуждого мне человека, никогда не увижу города, через который я случайно проехал, комнаты, в которой останавливался на несколько дней, никогда не увижу этого дерева, этой случайно встреченной мною собаки и т. д. Это, конечно, есть опыт о смерти внутри жизни. В пространстве и времени, не вмещающих полноты, обрекающих на разрывы и расставания, всегда в жизни торжествует смерть, и смерть говорит о том, что смысл лежит в вечности, в полноте, что жизнь, в которой восторжествует смысл, не будет знать разрыва и расставаний, не будет знать тления и умирания человеческих чувств и мыслей. Смерть наступает для нас не только тогда, когда мы сами умираем, но и тогда уже, когда умирают наши близкие. Мы имеем в жизни опыт смерти, хотя и не окончательный. И мы не можем примириться со смертью, не только со смертью человека, но и со смертью животных, цветов, деревьев, вещей, домов. Стремление к вечности всего бытия есть сущность жизни. И вместе с тем вечность достигается лишь путем прохождения через смерть, и смерть есть участь всего живущего в этом мире, и, чем сложнее жизнь, чем выше уровень жизни, тем более ее подстерегает смерть.

Федор Достоевский

Бобок

На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

Записки одного лица

Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:

– Да будешь ли ты, Иван Иванович, когда-нибудь трезв, скажи на милость?

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Все-таки ты, говорит, литератор». Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо».

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное; идеалов надо, а тут...

Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства вместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не Бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть – не напечатали. Написал фельетон – отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у вас нет».

– Какой же тебе соли, – спрашиваю с насмешкою, – аттической?

Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: «Редкость! Крас-ненький, дескать, чай, с собственных плантаций...» За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот таких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Все увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки – живые! Это они реализмом зовут.

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте... и вот что под самый конец оказалось... впрочем, давно уже надо было предвидеть...» Это еще довольно хитро; так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то, свети-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет, – способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: «Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные». Оно и впрямь, тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошел, значит, теперь мы умные». Нет, еще не значит.

Впрочем, черт... и что я с своим умом развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель: «У тебя, – говорит, – слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь – и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь...»

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!»

Какой такой бобок? Надо развлечься.

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется! Покойник добывал, ну а теперь – пенсионишка. Подождут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилам. Равные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки – ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить и все. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим... или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал. Я горд, я если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки, а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об «удивлении» я вот что вывел:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать».

– Да я прежде всего желаю уважать. Я жажду уважать, – сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И Боже, подумал я, что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не

хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина.

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу – звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

– Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.

– Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

– Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.

– Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно, и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко улаженный; не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике:



«Здесь покойтся тело генерал-майора Первоедова... таких-то и таких орденов кавалера». Гм. «Скончался в августе сего года... пятидесяти семи... Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник.

– Ох-хо-хо-хо! – послышался совсем уже новый голос, сажень в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки, – голос мужской и престолярный, но расслабленный на благоговейно-умиленный манер.

– Ох-хо-хо-хо!

– Ах, опять он икает! – раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света. – Наказание мне подле этого лавочника!

– Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это мое естество. И все-то вы, барыня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться...

– Так зачем вы сюда легли?

– Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое золото; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

– Накопил; людей обсчитывал?

– Чем вас обсчитаете-то, коли с января почитай никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется.

– Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.

– Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предела и пред судом Божиим во гресех равны.

– Во гресех! – презрительно передразнила покойница. – И не смейте совсем со мной говорить!

– Ох-хо-хо-хо!

– Однако лавочник-то барыни слушается, ваше превосходительство.

– Почему же бы ему не слушаться?

– Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.

– Какой же это новый порядок?

– Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство.

– Ах, да! Ну все же порядок...

Ну, одолжили, нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.

– Нет, я бы пожил! Нет... я, знаете... я бы пожил! – раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

– Слышите, ваше превосходительство, наш опять за то же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

– И с легкомыслием.

– Пронимает его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг: «Я бы пожил!»

– Скучновато, однако, – заметил его превосходительство.

– Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

– Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.

– А я, напротив, вас обоих терпеть не могу, – брезгливо откликнулась крикса. – Оба вы самые прескучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про вас, ваше превосходительство, – не чваньтесь, пожалуйста, – одну историйку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.

– Скверная женщина! – сквозь зубы проворчал генерал.

– Матушка, Авдотья Игнатьевна, – возопил вдруг опять лавочник, – барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..

– Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается!

– Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись, – потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу.

– Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.

– Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скорее пристигли: слезные гласы их над собою услышу, супруги вопль и детей тихий плач!..

– Ну, вот об чем плачет: нажрут кутьи и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!

– Авдотья Игнатьевна, – заговорил льстивый чиновник. – Подождите капельку, новенькие заговорят.

– А молодые люди есть между ними?

– И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.

– Ах, как бы кстати!

– А что, не начинали еще? – осведомился его превосходительство.

– Даже и третьеводнишние еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажено на десять почти все у нас прошлогодние.

– Да, интересно.

– Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасовича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.

– Гм, где же он тут?

– Да шагах в пяти от вас, ваше превосходительство, влево. Почти в самых ваших ногах-с... Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться.

– Гм, нет уж... мне что же первому.

– Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен, поручите мне, ваше превосходительство, и я...

– Ах, ах... ах, что же это со мной? – закричал вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

– Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава Богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

– Ах, кажется, молодой человек! – взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

– Я... я... я от осложнения, и так внезапно! – залепетал опять юноша. – Мне Шульц еще накануне: у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

– Ну, нечего делать, молодой человек, – милостиво и оче- видно радуясь новичку заметил генерал, – надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первеедов, к вашим услугам.

– Ах, нет! нет, нет, это я никак! Я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп... и вот вдруг совсем неожиданно... главное, совсем неожиданно.

– Вы говорите, сначала грудь, – мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.

– Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу... и знаете...

– Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.

– А я, знаете, все собирался к Боткину и вдруг...

– Ну, Боткин кусается, – заметил генерал.

– Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и все предскажет вперед.

– Его превосходительство заметил насчет цены, – поправил чиновник.

– Ах, что вы, всего три целковых, и он так осматривает, и рецепт... и я непременно хотел, потому что мне говорили... Что же, господа, как же мне, к Эку или к Боткину?

– Что? Куда? – приятно хохоча, заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой.

– Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! – восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. – Вот если б этакого подле положили!

Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать еще и не спешить заключениями. Этот соплик новичок – я его давеча в гробу помню – выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.

Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве – и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо лстивый и нена- видимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая.

– Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! – возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.

– А? что? – брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче – соблазнительное и тревожное в высшей степени.

– Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

– Чего просите и что вам угодно?

– Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с... Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются...

– Не слышал.

– Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич...

– Вы генерал Первоедов?

– Нет-с, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к вашим услугам, а генерал Первоедов...

– Вздор! И прошу вас оставить меня в покое.

– Оставьте, – с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.

– Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с...

– Оставьте, – повторил генерал.

– Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство! – вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос – голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальной его скандировкою. – Я вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали.

– Как, граф Петр Петрович... да неужели же вы... и в таких молодых годах... Как сожалею!

– Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отсюда извлечь все возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «милым полисоном». Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu¹. Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И, представьте, я уже совсем был помолвлен – Щевалевская, трех месяцев до шестнадцати недоставало, еще в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня, лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом, развратили?

– Ах, это ты, негодяй, ну хоть тебя Бог послал, а то здесь...

– Вы напрасно вашего соседа негоцианта заподозрили в дурном запахе... Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробу и хоронили.

– Ах, какой мерзкий! Только я все-таки рада; вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

– Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство, – я не вас, Первоедов, – ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который вас к m-lle Фюри постом возил, слышите?

– Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверьте...

– Ни на грош не верю, и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава Богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-père² сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казенного недочету оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и – и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты – да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тут-то я на него, на святой, и налег по-приятельски: «Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревисуют»; так, представьте, у него только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Grand-père, grand-père, слышите?

– Cher Клиневич, я совершенно с вами согласен, и напрасно вы... пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия... я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда все...

– Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катишь Берестову!

– Какую?... Какую Катишь? – плотоядно задрожал голос старца.

– А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, grand-père, что это за мерзавочка... хорошего дома, воспитанна и – монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я и знал... Катишь, откликнись!

¹ В высших сферах (фр.).

² Дед, старец (фр.).

– Хи-хи-хи! – откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки. – Хи-хи-хи!

– И блон-ди-ночка? – обрывисто в три звука пролепетал grand-père.

– Хи-хи-хи!

– Мне... мне давно уже, – залепетал, задыхаясь, старец, – нравилась мечта о блондинчке... лет пятнадцати... и именно при такой обстановке...

– Ах, чудовище! – воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– Довольно! – порешил Клиневич. – Я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что вас так звали!

– Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к вашим услугам и очень-очень очень рад.

– Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь все знаете. Скажите, во-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?

– Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.

– Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.

– Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по несколько слов, не идущих к делу.

– К делу, к делу!..

– Он объясняет все это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это – не умею вам выразить – продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», – но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметной искрой...

– Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

– Это... хе-хе... Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная – хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться... и что это, так сказать, последнее милосердие... Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении...

– Довольно, и далее, я уверен, все вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – послышались многие голоса, и, странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

– Ах, как я хочу ничего не стыдиться! – с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться...

– Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!

– Я понимаю, Клиневич, – пробасил инженер, – что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.

– Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вам все объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас все само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса.

– Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! – взвизгивала Авдотья Игнатьевна.

– Ах... ах... Ах, я вижу, что здесь будет весело; я не хочу к Эку!

– Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!

– Хи-хи-хи! – хихикала Катишь.

– Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Grand-père, вы согласны?

– Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнет первая свою би-о-графию.

– Протестую! протестую изо всех сил, – с твердостью произнес генерал Первоедов.

– Ваше превосходительство! – в торопливом волнении и понизив голос лепетал и убеждал негодяй Лебезятников, – ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка... и, наконец, все эти разные штучки...

– Положим, девочка, но...

– Выгоднее, ваше превосходительство, ей-Богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем...

– Даже и в могиле не дадут успокоиться!

– Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас на-пле-вать, – проскандировал Клиневич.

– Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.

– Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!

– Нет, не пшик... я и здесь...

– Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть медных пуговиц.

– Браво, Клиневич, ха-ха-ха! – заревели голоса.

– Я служил государю моему... я имею шпагу...

– Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали.

– Все равно-с, я составлял часть целого.

– Мало ли какие есть части целого.

– Браво, Клиневич, браво, ха-ха-ха!

– Я не понимаю, что такое шпага, – провозгласил инженер.

– Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! – прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга.

– Шпага, сударь, есть честь! – крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.

– Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!

– Ох-хо-хо! Воистину душа по мытарствам ходит! – раздался было голос простолюдина, и...

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: все смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились: решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и – ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию, ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

«Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу» – и с сим словом оставил кладбище.

Нет, этого я не могу допустить, нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить...

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное.

А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдоты. Тьфу! Но пойду, непременно пойду; дело совести!

Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.



Иван Нургенев

Смерть

Из цикла «Раписки охотника»

У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на тетеревов. Он согласился. «Только, – говорит, – поедемте по моим мелочам, к Зуше; я, кстати, посмотрю Чаплыгино; вы знаете, мой дубовый лес? У меня его рубят». – «Поедемте». Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ягдташ, серебряную флягу, накинул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собою десяцкого Архипа, толстого и приземистого мужика с четверугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из остзейских губерний, юношу лет девятнадцати, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, г. Готлиба фон-дер-Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской советницы Кардой-Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая, даже лежа в постеле, продолжительно жалобно кряхтела. Мы въехали в «мелоча». «Вы меня здесь подождите на полянке», – промолвил Ардалион Михайлыч (мой сосед), обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганны Шопенгауэр, и присел под кустик; Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ардалион Михайлыч объявил, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты: я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книгу в карман и сел, не без труда, на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения; Архип встрепенулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул наконец с места свою ошеломленную и придавленную лошадедку. Мы поехали.

Лес Ардалиона Михайлыча с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером m-г Désiré Fleury, добрейшим человеком (который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарство Леруа), часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь двух- или трехсот огромных дубов и ясеней. Их статные, могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистом носились над неподвижными верхушками, пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре; звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги; внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно «костыляя»; красно-бурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве, около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайках, между широкими кустами, алела земляника... А что за тень в лесу была! В самый жар, в полдень – ночь настоящая: тишина, запах, свежесть... Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей – дубов и ясеней; засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально

высились они над молодой рощей, которая «сменила их, не заменив»...³ Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимали кверху свои безжизненные, обломанные ветви; у других из листвы, еще довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья; с иных уже кора долой спадала; иные, наконец, вовсе повалились и гнили, словно трупы, на земле. Кто бы мог это предвидеть – тени, в Чаплыгине тени нигде нельзя было найти! Что, думал я, глядя на умирающие деревья: чай, стыдно и горько вам?.. Вспомнился мне Кольцов:

Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?..

– Как же это, Ардалион Михайлыч, – начал я, – отчего ж эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут.

Он только плечами пожал.

– Спросили бы тетушку, – а купцы приходили, деньги приносили, приставали.

– Mein Gott! Mein Gott! – восклицал на каждом шагу фон-дер-Кок. – Што са шалость! што са шалость!

– Какая шалость? – с улыбкой заметил мой сосед.

– То ист как шалко, я скасать хотелл. (Известно, что все немцы, одолевшие наконец нашу букву «люди», удивительно на нее напевают.)

Особенно возбуждали его сожаление лежавшие на земле дубы – и действительно: иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько; напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал.

Мы пробирались на место рубки, как вдруг, вслед за шумом упавшего дерева, раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный.

– Что такое? Куда ты бежишь? – спросил его Ардалион Михайлыч.

Он тотчас остановился.

– Ах батюшка, Ардалион Михайлыч, беда!

– Что такое?

– Максима, батюшка, деревом пришибло.

– Каким это образом?.. Подрядчика Максима?

– Подрядчика, батюшка. Стали мы яшень рубить, а он стоит да смотрит... Стоял, стоял, да и пойдя за водой к колодцу: слыть, пить захотелось. Как вдруг яшень затрещит да прямо на него. Мы кричим ему: беги, беги, беги... Ему бы в сторону броситься, а он возьми да прямо и побег... заробел, звать. Яшень-то его верхними сучьями и накрыл. И отчего так скоро повалился – господь его знает... Разве сердцевина гнила была.

– Ну, и убило Максима?

– Убило, батюшка.

– До смерти?

³ В 40-м году, при жесточайших морозах, до самого конца декабря не выпало снега; зелены все вымерзли, и много прекрасных дубовых лесов погубила эта безжалостная зима. Заменить их трудно: производительная сила земли видимо скудеет; на «заказанных» (с образами обойденных) пустырях, вместо прежних благородных деревьев, сами собою вырастают березы да осины; а иначе разводить рощи у нас не умеют. (Прим. автора.)

– Нет, батюшка, еще жив, – да что: ноги и руки ему перешибло. Я вот за Селиверстычем бежал, за лекарем.

Ардалион Михайлыч приказал десятскому скакать в деревню за Селиверстычем, а сам крупной рысью поехал вперед на ссечки... Я за ним.

Мы нашли бедного Максима на земле. Человек десять мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом, и покусывал посипевшие губы... Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно: он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу.

Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайлыча.

– Батюшка, – заговорил он едва внятно, – за попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, всё перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вот... ребят-то не распустил.

Он помолчал. Дыханье ему спирало.

– Да деньги мои... жене... жене дайте... за вычетом... вот Онисим знает... кому я... что должен...

– Мы за лекарем послали, Максим, – заговорил мой сосед, – может быть, ты еще и не умрешь.

Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки.

– Нет, умру. Вот... вот подступает, вот она, вот... Простите мне, ребята, коли в чем...

– Бог тебя простит, Максим Андреич, – глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли, – прости ты нас.

Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустился опять.

– Нельзя же ему, однако, тут умирать, – воскликнул Ардалион Михайлыч. – Ребята, давайте-ка вон с телеги рогожку, снесемте его в больницу.

Человека два бросились к телеге.

– Я у Ефима... сычовского... – залепетал умирающий, – лошадь вчера купил... задаток дал... так лошадь-то моя... жене ее... тоже...

Стали его класть на рогожу... Он затрепетал весь, как застреленная птица, и выпрямился.

– Умер, – пробормотали мужики.

Мы молча сели на лошадей и отъехали.

Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто.



Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в овине обгорел. (Он так бы и остался в овине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил: окунулся в кадку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом.) Я зашел к нему в избу. Темно в

избе, душно, дымно. Спрашиваю: где больной? «А вон, батюшка, на лежанке», – отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. Подхожу – лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжко. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи, лежи, лежи... Ну, что? как?» – «Вестимо, плохо», – говорит. «Больно тебе?» Молчит. «Не нужно ли чего?» Молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» – «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сiju четверть часа, сiju полчасу – гробовое молчание в избе. В углу, за столом под образами, прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозит на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают: братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья!» – проговорил, наконец, больной. «Чего?» – «Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шепотом: «Причастили его?» – «Причастили». Ну, стало быть, и все в порядке: ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел...

А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорья, к знакомому мне фельдшеру Капитону, страстному охотнику.

Больница эта состояла из бывшего господского флигеля; устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами: «Красногорская больница», и сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благотельной помещицы начертал следующие стихи:

Dans ces beaux lieux, où règne l'allégresse,
Ce temple fut ouvert par la Beauté;
De vos seigneurs admirez la tendresse.
Bons habitants de Krasnogorié!⁴
А другой господин внизу приписал:
Et moi aussi j'aime la nature!
Jean Kobylatnikoff⁵.

Фельдшер купил на свои деньги шесть кроватей и пустился, благословясь, лечить народ божий. Кроме его, при больнице состояло два человека: подверженный сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Меликитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготавливали лекарства, сушили и настаивали травы; они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова; по ночам пел песню «о прекрасной Венере» и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшек. Вот сiju я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошастью, какие бывают только у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке, с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитрич, – закричал из окна Капитон, – милости просим... Лыбавшинский мельник», – шепнул он мне. Мужик, побряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерову комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитрич, что новенького?.. Да вы, должно быть, нездоровы: лицо у вас нехорошо». – «Да, Капитон Тимофеич, неладно что-то». – «Что с вами?» – «Да вот что, Капитон Тимофеич. Недавно купил я в городе жернова; ну, привез их домой, да как стал их с телеги-то выкладывать, понатужился, знать, что ли, в череве-то у меня так екнуло, словно оборвалось что... да вот с тех пор все и нездоровится. Сегодня даже больно неладно». – «Гм, – промолвил Капитон и понюхал табак, –

⁴ В прекрасных местах, где царствует веселье, Сама красота воздвигла этот храм; Восхищайтесь щедростью ваших господ, Добрые обитатели Красногорья! (фр.)

⁵ И я тоже люблю природу! Иван Кобылятников (фр.)

значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» – «Да десятый денек пошел». – «Десятый? (Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздух и головой покачал.) Позволь-ка себя пощупать. Ну, Василий Дмитрич, – проговорил он наконец, – жаль мне тебя, сердечного, а ведь дело-то твое неладно; ты болен не на шутку; оставайся-ка здесь у меня; я с своей стороны все старание приложу, а впрочем, ни за что не ручаюсь». – «Будто так худо?» – пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитрич, худо; пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше – и ничего бы, как рукой бы снял; а теперь у вас воспаление, вон что; того и гляди антонов огонь сделается». – «Да быть не может, Капитон Тимофеич». – «Уж я вам говорю». – «Да как же это! (Фельдшер плечами пожал.) И умирать мне из-за этакой дряни?» – «Этого я не говорю... а только оставайтесь здесь». Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитрич?» – «Куда? Вестимо куда – домой, коли так плохо. Распорядиться следует, коли так». – «Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитрич, помилуйте; я и так удивляюсь, как вы доехали? Оставайтесь». – «Нет, брат Капитон Тимофеич, уж умирать, так дома умирать; а то что ж я здесь умру, – у меня дома и господь знает что приключится». – «Еще неизвестно, Василий Дмитрич, как дело-то пойдет... Конечно, опасно, очень опасно, спору нет... да оттого-то и следует вам остаться». (Мужик головой покачал.) «Нет, Капитон Тимофеич, не останусь... а лекарствицо разве пропишите». – «Лекарство одно не поможет». – «Не останусь, говорят». – «Ну, как хочешь... чур потом не пенять!»

Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал Капитону полтинник, вышел из комнаты и сел на телегу. «Ну, прощайте, Капитон Тимофеич, не поминайте лихом да сироток не забывайте, коли что...» – «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая; мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадьё и со встречными раскланивался... На четвертый день он умер.

Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокумов, прекрасный, благороднейший человек! Вижу снова твоё чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены; слышу твой слабый, ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупяникова, учил его детей Фофу и Зёсю русской грамоте, географии и истории, терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек, не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скужащей барыни; зато, бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером, после ужина, когда, отделившись наконец от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты! Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко наворачивались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какою искреннею любовью к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа! Должно сказать правду: не отличался ты излишним остроумием; природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием; в университете считался ты одним из самых плохих студентов; на лекциях ты спал, на экзаменах – молчал торжественно; но у кого сияли радостью глаза, у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? У Авенира... Кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих, кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия, кто бескорыстно жертвовал собою, кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его?.. Всё ты, всё ты, наш добрый Авенир! Помню: с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на «кондицию»;

злые предчувствия тебя мучили... И точно: в деревне плохо тебе пришлось; в деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить... И степняки, и образованные помещики обходились с тобою, как с учителем: одни – грубо, другие – небрежно. Притом же ты и фигурой не брал; робел, краснел, потел, заикался... Даже здоровья твоего не поправил сельский воздух: истаял ты, как свечка, бедняк! Правда: комнатка твоя выходила в сад; черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки; на стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой чувствительной немочкой, гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазами; иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами; но одиночество, но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная... Бедный, бедный Авенир!

Я посетил Сорокоумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупяников не выгонял его из дому, но жалованье перестал ему выдавать и другого учителя нанял Зёзе... Фофу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурою грядой обнаженных лип; кое-где шевелились и лепетали на них последние, ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце; его косые румяные лучи били вскользь по бледной траве; в воздухе чудился легкий треск; ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат; зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему... На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно переписанных; он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт», – пролепетал он, с усилием сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом:

Аль у сокола
Крылья связаны?
Аль пути ему
Все заказаны?

Я остановил его: лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокоумов никогда, как говорится, не «следил» за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы? Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать: слушает, удивляется, верит ему на слово и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле (дела давно минувших дней, как видите). Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал: «Понимаю, понимаю!.. а! хорошо, хорошо!..» Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни... и что ж? – он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение...

Собравшись с силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе; вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей...

– Помнишь Дашу? – прибавил он наконец. – Вот золотая была душа! Вот было сердце! И как она меня любила!.. Что с ней теперь? Чай, иссохла, исчахла, бедняжка?

Я не посмел разочаровать больного – и в самом деле, зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами – братьями Кондачковыми, белится и румянится, пищит и бранится.

Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить... Но Авенир не дал мне закончить мое предложение.

– Нет, брат, спасибо, – промолвил он, – все равно где умереть. Я ведь до зимы не доживу... К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние...

– Злые, что ли? – подхватил я.

– Нет, не злые: деревяшки какие-то. А впрочем, я не могу на них пожаловаться. Соседи есть: у помещика Касаткина дочь, образованная, любезная, добрейшая девица... не гордая...

Сорокоумов опять раскашлялся.

– Все бы ничего, – продолжал он, отдохнувши, – кабы трубочку выкурить позволили... А уж я так не умру, выкурю трубочку! – прибавил он, лукаво подмигнув глазом. – Слава богу, пожил довольно; с хорошими людьми знался...

– Да ты бы хоть к родным написал, – перебил я его.

– Что к родным писать? Помочь – они мне не помогут; умру – узнают. Да что об этом говорить... Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел?

Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через десять получил следующее письмо от г. Крупяникова:

«Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент, г. Авенир Сорокоумов, четвертого дня в два часа пополудни скончался и сегодня на мой счет в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные при сем книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубля с полтиной, которые, вместе с прочими его вещами, доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти и, можно сказать, с таковою же бесчувственностью, не изъясняя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя Клеопатра Александровна вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы; что же до меня касается, то я, слава богу, здоров и честь имею пребыть

Вашим покорнейшим слугою.

Г. Крупяников».

Антон Чехов

Горе

Много других еще примеров в голову приходит, – да всего не перескажешь. Ограничусь одним.

Старушка помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка, – проговорила она коснеющим языком, – успеешь...» Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал целковый: она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную...

Да, удивительно умирают русские люди!

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

– Ты, Матрена, не плачь... – бормочет он. – Потерпи малость. В больницу, бог даст, приедем и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иванович капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иванович постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? – закричит. – Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иванович! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, черт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

– «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели господь... мать божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иванович нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось, раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иванович прикажет тебя в больницу снести. А я в ноги... «Павел Иванович! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иванович взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» – «Истинно пороть, Павел Иванович, побей меня бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово...

вот как перед богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то всё, что соизволите приказать, всё для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... всё для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница»... Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза заворшило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, неожиданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих, странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

– Ты же, Матрена, тово... – бормочет он. – Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, твоя воля! Привел бы только бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

– Ну и дура! – бормочет токарь. – Я тебе по совести, как перед богом... а ты, тово... Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Ивановичу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

– Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете всё быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

– А ведь она по миру ходила! – вспоминает он. – Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!



Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится всё хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова...» – думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы – хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

– Куда ж я еду? – спохватывается вдруг токарь. – Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцей. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух всё темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... – думает токарь. – Инструмент бы новый завести, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Всё равно... – думает он, – сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покуда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

– Панихидку бы, братцы, по старухе! – говорит он. – Батюшке бы сказать...

– Ну, ладно, ладно! Лежи уж! – обрывает его чей-то голос.

– Батюшка! Павел Иванович! – удивляется токарь, видя перед собой доктора. – Вашескорodie! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

– Ваше высокорodie! Ноги же мои где? Где руки?

– Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось, шесть десятков прожил – будет с тебя!

– Горе!.. Вашескорodie, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

– Зачем?

– Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете всё скоро делается! Ваше высокорodie! Павел Иванович! Портсигарик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю – аминь!



Иван Бунин

Преображение

Двор был богатый, семья большая.

Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажила и жила так долго, что казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию.

Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сгорбились, забились на полаты, на печь, отчудились сперва от семьи, и потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.

После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете – и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. Вышло как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую пору... Кому бы пришло в голову бояться ее, думать о ней!

Но вот захворала уже как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша горячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. «Мамушки, ай тебе курятинки спарить либо лапшицы молочной? Может, хочется чего? Может, самовар поставить?» – А она только дышит в забытии, только слабо и благодарно рукой шевелит...

Наконец развязала всех – отошла.

Глубокая ночь, зима. Ночь для нее, среди живых, последняя. На дворе метель и темь, вся деревня спит. Спит и весь двор, – обе жилые связи полны спящими, – и над всей этой зимней ночью и метелью, сном и глушью двора и деревни царит Мертвая: вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество – в покойницу.



Она лежит в холодной половине – уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчовым покровом, взятым напрокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным целым пучком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, черные стекла которого блестят, искрятся снегом, снаружи намерзающим на них.

Псалтырь читает Гаврил, младший сын покойной, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам – кому ж читать, как не ему? И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его, – и вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает, не смолкая, все на один лад, – как поднял голос по-церковному, так и остался на высокой ноте, – читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтения. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире: что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи.

Что с ним случилось? То, что он не рассчитал своих сил, решившись читать над покойницей ночью, в час всеобщего сна, что его обуяло ужасом и что он не может двинуться? Нет,

случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным, таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, – разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижимое, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плисом с белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преобразование – и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преобразенном мире!



Он волшебным замкнут в нем, и он должен стоять в нем до рассвета и читать, не смолкая, на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, зловещий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слы-

шать свой собственный голос и держаться на ногах, всем существом и все глубже воспринимая то невыразимо чарующее, что, как некая литургия, совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается и еще медленнее опускается парчовый покров на груди покойницы – она медленно дышит! И еще выше и ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей – и уже все вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеют голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет метель, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно – этот ветер тоже она, усопшая, это от нее веет этим неземным, чистым, как смерть, и ледяным дыханием, и это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых!

* * *

Теперь Гаврило моложавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное любимое им, – ездить ямщиком.

Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющиеся по времени года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему умных лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седоком – счастье, никогда ему не изменяющее.

Он простой, ласковый. Лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивы и ясны. Он не говорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое, похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери в ее последнюю ночь среди живых.

Париж. 1921

Святитель

Двести лет тому назад, в некий зимний день, святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным.

Вечером в его покое, перед многочисленными и прекрасными образами, горели лампы, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют. И святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик.

Неслышно вошел и тихо поклонился служка.

– Милый брат, позови ко мне певчих, – сказал святитель. – Бог простит мне, недостойному, что я тревожу их в неурочный час.

И вскоре покой святителя наполнился молодыми черноризцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, – разулись, прежде чем войти.

И святитель сказал в ответ на их земное метание:

– Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной.

И они стали вполголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости.

И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой.

Когда же получили они отпуск и, поклонясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу.

Он рассказал ему всю свою жизнь.

Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых, сладчайших молитвенных восторгах.

Прощаясь же с ним вблизи полуночи, поцеловал его с лихорадочно-сияющим взглядом и поклонился ему в ноги.

И это была последняя земная ночь святителя: на рассвете обрели его почившим, – с двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный.

Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного, – простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю:

– Митюшка, милый!

Только один господь ведает меру неизреченной красоты русской души.

7 мая 1924



Лев Карсавин

Поэма о смерти

От автора и об авторе

1. Поэма о смерти... Почему, в самом деле, этому не быть поэмою? – Оттого и поется, что тяжело.

2. На костре сжигали жидовку. – Палач цепью прикручивает ее к столбу. А она спрашивает: так ли она стала, удобно ли ему... К чему ей заботиться об устройстве палача? Или так он скорее справится со своим делом? Или он – сама судьба, неумолимая, бездушная, – все же последний человек? – Он ничего не ответит и, верно, ничего даже не почувствует. Но, может быть, что-то шевельнется в его душе, отзываясь на ее кроткий вопрос; и рука его на мгновение дрогнет; и неведомое ему самому, никому не ведомое сострадание человека как бы облегчит смертную ее муку. А мука еще впереди, невыносимая, бесконечная. И до последнего мига – уже одна, совсем одна – будет она кричать и корчиться, но не будет звать смерти: смерть сама придет, если только... придет.

3. Не проходит моя смертная тоска и не пройдет, а – придет сильнейшею, невыносимою. Не безумею от нее, не умираю; и не умру: обречен на бессмертие. Мука моя больше той, от которой умирают и сходят с ума. Умрешь – вместе с тобой нет и твоей муки; сойдешь с ума – не будешь знать ни о себе, ни о ней. Здесь же нет ни конца, ни исхода; да и начала нет – потеряно.

4. «Невелика твоя мука, если от нее не безумствуешь и не умираешь. Просто: ты холоден и бесчувствен; мука же твоя самая обыкновенная хандра».

– Но значит же что нибудь вечность! Вечная хандра стоит кратковременной ужаснейшей муки.

5. «При чем тут вечность? Да и откуда у тебя привилегия на бессмертие? – Раз ты не умрешь, не умрут и другие. Тогда и та несчастная жидовка будет вечно корчиться и кричать беззвучным уже от крика голосом на своем неугасимом костре. А согласись: телесная мука действительней душевной».

– Разве я говорю о душевной муке? Ведь она же и телесна – вечная боль (пока: преимущественно в области сердца). А когда она возрастет, не станет ли она мучительней всякого огня? Не предвестие ли она того, что еще будет?... Расширится она и целиком включит в себя и муки жидовки, и все другие человеческие страдания... Конечно, и жидовка, умерев, не умерла, и все обречены на бессмертие. Но они этого не знали или не знают. Хоть на земле у них была беззаботная радость.

6. «У них было и страдание большее, чем твоя хандра. Они умели чувствовать. Впрочем, и ты был ребенком».

– Не помню... Пускай я бесчувствен и холоден. Разве холод не жжет? Не в глубине ли ада ледяная пустыня? Не там ли льдом сковано тело? Слезы, не успевая выступить из глаз, застывают. Легко ли чувствовать, что у тебя вместо сердца острый и жгучий кусок льда, останавливающий всякое чувство и движение?

7. «Окамененное нечувствие... Какое горделивое одиночество! – Утешение не меньшее, чем смерть и безумие».

– Нет, я не одинок и не героичен. Может быть, боюсь новых страданий не за себя, а за тех, кого люблю. Но люблю ли их? Не своего ли сострадания боюсь, когда трепетно жду их страдания? – Недействительная чувствительность, «периферическая», как называла ее Элените... Да и боюсь-то всего каких-то смешных, маленьких неприятностей: не страдать, а видеть слезы,

не погибнуть, а опоздать на поезд... Все ничтожно, как у тех, кого Данте увидел в преддверии ада: на небо не попали – не за что, но и адская глубина не принимает – и зла-то настоящего не сделали... Какое уж там величие духа! – Не герой, а самый обыкновенный человек. Вот и сейчас: ношусь со своей тоской, а сам ведь, пожалуй, думаю о том, как бы развлечься. – Хорошо бы встретить любовь («...блеснет любовь улыбкою прощальной»). Но за отсутствием любви не повредит и маленькая интрижка, нечто вроде изящной игры в любовь, разумеется – в половую (XVIII siècle). Это – «вечерок любви»; но если «только утро любви хорошо», то, надо полагать, и вечерок неплох... Так от возвышенной любви к возвышающему обману, от возвышающего обмана к занимательной игре. А дальше?..

8. «Емли серебряник и гряди ко блуднице». – Не беру серебряника и не иду, а только – иногда думаю. Тем мировая скорбь и кончается.

9. Милая читательница!.. Будут же у меня читательницы – тем более что о них думаю настоятельнее, чем о читателях. Милая и сострадательная читательница, напечатал я в 1922 году книгу о любви, довольно-таки безвкусную, но не безынтересную. Сам верил, что открываю новые горизонты и вступаю в новый мир, или почти верил: хотел верить. Критики не без остроумия называли меня тогда «ученым эротоманом», один же психиатр (по-видимому, вполне справедливо) заметил, что книжка хотя и о любви, а насквозь «головная». Как бы то ни было, теперь вот пишу о смерти, а сам, кажется, надеюсь, что из этого выйдет для меня если и не любовь, то по крайней мере одно из указанных выше состояний (до серебряника исключительно). Дело в том, что упомянутая книжка (вместе со многим другим) привела меня к внутреннему разложению, т. е. – к духовной смерти; я же склонен верить в диалектическую связь противоречий. Откровенно предупреждаю Вас о своей коварной надежде. Не могу лишь пока ничего сказать о мотивах предупреждения.

10. Узнав в своей муке душевное гниение или умирание, я сразу несколько успокоился. (Вероятно, отсюда и перемена стиля, и, в частности, немного не к месту игривое обращение к Вам, моя читательница.) Успокоился же я, несомненно, оттого, что все до сих пор сказанное было художественным творчеством, т. е. – поэтическим и, стало быть, самым точным восприятием себя, обещанною поэмою. Ведь суть поэзии как раз в том, что она возносит поэта над ним самим. Не следует успокаиваться на мысли о высоте своего созерцания. Но как замечу это, так сейчас же снова разоблачу свою низость и, следовательно, подымусь еще выше. Так и буду орлом не сидеть на высоте, а парить над собою: там, где еще не сознаю, что я парю.

11. Великой муки не побеждает ни смерть, ни безумие: ее побеждает поэзия, дитя отчаянья. Побеждая же муку, поэзия очищает поэта. Следовательно, она – совсем по Аристотелю – трагическая поэзия, светлая, а потому – не умеющая смеяться (самое большее – грустно улыбнется), стыдливая, а потому – ... Ничего не подделаешь: после Шекспира необходим в трагедии циник и шут... Забудьте об условности стиля, о пошлости многих образов и слов, о поэтическом бессилии. – Тем строже и чище сама поэзия. Как истина, как женщина, она наряжается для разоблачения и без обмана прекрасна лишь во всей своей наготе. Мудро поет Мистенгет: «Il m'a vue nue, plus que nue...»⁶.

12. Поэзия – смысл и система. Поэзия – метафизика, возносящая «мета» «за» пределы естества. Метафизика живет в поэзии; поэзия, раскрывая свой смысл, умирает в холодном свете метафизики.

13. Поэт – дитя. Из страданий своих, из омытых слезами падений сплетает он себе венок. Играя, его надевает; смеется лучшим в мире смехом – смехом сквозь слезы. Так смеется ребенок: сияют глаза, а со щек еще не сбежали крупные, горькие слезы. Из стонов своих слагает поэт песню: поет – как весь мир, ставший в нем радостью. Но не знает поэт, да и не думает

⁶ Фраза «Il m'a vue nue, plus que nue» – это часть текста песни Мистенгет (Mistinguett). Дословно она переводится как «Он видел меня голой, совершенно голой, более чем голой».

о том, отчего так радует его сплетенный им венок, словно росинками, сверкающий слезами, отчего так красива рожденная стопами песня.

14. Метафизик – древний-древний старец. Величавой волною сбегает его седая борода. Но слаб он и зябок: солнечным лучам не согреть его желтых, прозрачных рук. Он знает смысл исчезающей жизни; знает цену всякому горю и место всякой радости. Но для него нет уже ни радости, ни горя; и светлая, как холодный прозрачный родник, грусть останавливается в его выпцветших глазах. Он всю жизнь превратил в стройную мысль, все понял. Но где это все, если он уже не живет?

15. Поэт же живет, но ничего не знает и лишь в детском неведении своем велик неизреченною мудростью. Однако: не дети ли становятся стариками и не в детство ли впадают старики?

16. Всякую метафизику обвиняют в «оптимизме», в том, что она недооценивает «трагизма» жизни. – Наивные обвинения и смешные слова: «оптимизм», «пессимизм»! Ненужные слова! «Трагизм» – это, конечно, слово не выдуманное. К несчастью, злоупотребляют им невежды, далее Аристотеля не читавшие. Для них трагедия там, где убивают, где рыдают и каменеют от ужаса, где зло глумится над поверженным добром, а бессмыслица торжествует над смыслом. Но ведь все это – сама жизнь. К чему же бессмысленную действительность называть совсем не подобающим ей именем? Ибо трагедия не действительность, а – жизнь, уже преображенная поэзией. Трагическая поэма – вещий сон поэта и метафизика о преображенной жизни. Она просветляет, ибо говорит о том, чем должна быть наша жизнь и что она в таинственном своем существе уже есть. Зло и бессмыслица еще не трагедия. Гибель в них добра и смысла еще не трагедия. Трагичен лишь катарсис – очищение и оправдание зла (не добро же надо оправдывать!) в умерщвляемом им добре, осмысление бессмыслицы в убиваемом ею смысле.

17. Конечно, поэт или метафизик – пророк. Но он и человек, который безобразит и бессмысленно страдает и, может быть, лишь потому бывает иногда ясновидцем («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» и т. д.). Только на мгновения возносится поэт над жизнью, исполняясь радостью метафизических озарений и поэтических восторгов. Но и в эти мгновения он лишь вдалеке, в утреннем тумане видит Ханаанскую землю и – уже стремится с горы, чтобы томиться в безводной пылающей пустыне. – Заметьте это, сострадательная читательница!

18. «Оптимист» ли, «пессимист» ли он? – Посмотрим на Вашего метафизика-пессимиста. – Ну, немножечко пострадал, больше всего от зависти. Потом сочинил систему, довольно складную и «ужасно» мрачную, но – почему же «пессимистическую», раз это «ужасно» только для дам, а для него самого приятно?.. Завел собак, «друзей непонятого», из подыхающих стал делать чучела и наслаждается себе среди этой падали, упиваясь званием великого пессимиста.

19. Нет, лучше, достойнее – «быть пессимистом» (т. е., говоря простыми словами, – страдать) в самой жизни, в метафизике же – «быть оптимистом». К тому же здесь и нельзя им не быть: здесь лишь можно по недомыслию считать себя «пессимистом» или (что то же самое) не быть систематиком. Страдать же надо реально, а не в сонном мечтании. – Страдание – великий дар, печать избранности и благородства. Если Бог тебя на том свете спросит: «Зачем ты на земле так безобразничал?» – смело отвечай: «Зато, Господи, я и страдал». И, поверь мне, Бог в тупик станет. Что же, в самом деле, сможет Он тебе ответить, если сам Он страдал в тебе? Не страдай Он – не было бы и нашего безобразия, из за которого мы страдаем.

20. Великая и настоящая мука безмолвна. Ее никаким словом не выскажешь и никаким криком не выкричишь. Только глумясь и паясничая, как шут, не осквернишь ее безмолвия. Можно, разумеется, распространиться и на тему о «видимом миру смехе сквозь невидимые миру слезы». Но тогда не избавишься от себя самого; тогда уничтожишь всю свою метафизику тупым самодовольством. И не будет уже той последней серьезности, которая здесь необходима.

Как бы личное

21. Где теперь светловолосая Элените? Где это девически неловкое ее признание?.. Все прошло. Ничего не вернешь. Все умерло или: живет лишь для того, чтобы мучить меня... Ведь это же я, сам я сижу, наклонившись вперед, с неискренней от робости улыбкой. – Я то я, да вот все-таки уже и не я. Тот «я» мертв во мне. Осталась от него холодная могила, саркофаг. Эту могилу я – еще – живой украшаю последними, милыми цветами запоздалой осени...

22. Из кладбищенской литературы. – Записи прохожих на могиле в виде обмена мыслей: 1. «Здесь лежит юнкер семнадцати лет. Обложите могилу несчастного!» – 2. «Чем прикажете?» – 3. «Конечно, дерном». – 4. «А я думал: г.....».

23. Внутри себя самого недвижим я, как моя каменная могила. Тесно мне от нее: распирает она мою душу. Веет от нее холодом... Стал я собственным своим трупом. Труп этот во мне как что-то неотменимое, как мое тело. В самом деле, не есть ли тело лишь застывшая, умершая душа?

24. Не яд ли, который незримо сочится из моего трупа, отравляет всякую мою радость, всякое чувство? огнем тления пронизывает всякую мысль?.. Не могу жить: потому что не забываю. И не могу забыть, да и не хочу. Впрочем, сам не знаю: хочу или не хочу. – Хочу и не хочу сразу. Хотел бы, чтобы свободно жить и дышать. Но жаль забыть. – Вспоминаемое кажется лучшим из всего, что было. И не забыть уже хочешь, а воскресить... Ах, читательница! Тогда бы я вновь слушал дрогнувший голос Элените, которого сейчас мучительно не могу вспомнить; смотрел бы на ее побледневшее лицо, вместо которого сейчас передо мною лишь испещренная мелкими буквами бумага... Вот помню: у Элените странно расширились зрачки, и от этого ее серые глаза внезапно темнели; но – помню лишь на словах: не вижу... Если бы вернулось прошлое – все бы, думается, видел, слышал, чувствовал, все: до самой последней черточки. Понял бы то, чего тогда и не заметил и чего теперь, сколько ни старайся, – не вспомнишь. Сказал бы все, что не сказалося и не подумалось. Но все прошло: ничего не вернешь... Не возвращается прошлое, а уходит; не яснее, а бледнее и расплывается. С каждым днем оно все неуловимее. Скоро даже эти мгновения, даже эти воспоминания уйдут навсегда. Будут где-то вдали виднеться две скорбные бескровные тени. —

На нашу общую могилу
Ронял я белые цветы
И с ними все, что сердцу мило,
А их кропила кровью ты.
И кровь дымилась и чернела,
И сохла, лепестки суша,
И все мое дрожало тело,
И стыла медленно душа.
О, эта кровь! О, эти руки,
В разъятии тягостном, без сил!

.....
.....

Два последних стиха не вышли: оказались такими пошлыми, что не заслужили появления на бумаге. Не потому ли, что и все где-то посередине между жизнью и смертью? Нет ни начала, ни конца. И я, в себе еще живом ставший своим собственным трупом, – медленно разлагающийся труп.

25. Так мне ли усовершенствовать свое прошлое, даже если бы оно вернулось? – Я могу лишь напоить его трупным своим ядом и растлить. Во что потом превратилось это «лучшее»?.. Да не потому ли и кажется оно таким светлым, что осталось недосказанным, неясным?.. – Все ли я вспоминаю и верно ли вспоминаю? А что если вспоминаемое лишь осенние цветы, которыми я убираю свой саркофаг, асфодели, которых питает мой тлеющий труп? То, что не сознавалось, когда я пытался жить, то, что сейчас представляется «лучшим», не было ли на самом деле иным – бессильным и безобразным?

26. Понятны мне теперь жалобы Элените. – Жаловалась она, что летает над нею какая-то злая, черная птица с мягкими, душными крыльями, летает и не дает ей дышать... Конечно, Элените немного и присочинила: таких птиц не бывает. Но не все же она сочинила, а только – кое-что присочинила, да и то – для поэзии. Стало быть, она уже как-то чуяла яд, который теперь разъедает мою душу. – Конечно! Почему же иначе называла мою душу «темною», а меня самого – «черным»? Не мне обвинять: я в ответ уже совсем намеренно и лживо молот какой-то вздор (даже вспомнить стыдно!), в благоприятном смысле толкуя появление птицы, все-таки – вещей.

27. А теперь который уже день – ложусь спать, и вокруг меня начинает летать черная муха, противная, с лоснящейся спинкой, жирная... Хочу ее умертвить. Но внезапно появляется мысль: «А вдруг это Элените? Вдруг ее убью?» Не убить же нельзя: очень уж мерзкая муха, отвратительная. Ночью запутывается у меня в волосах и ест их: их становится все меньше... Так и не решился умертвить. Два раза придавливал платком, но не по-настоящему: колебался. И она все летает и злобно, а может быть – и жалобно, жужжит.

28. Как бледная тень, живу я-прошлый в себе-настоящем; или: я-настоящий безжизненной тенью блуждаю и тоскую в моем прошлом. Так, говорят, умерший не расстается с родною землею. Незримою тенью витает он там же, где жил и страдал. Мил ему по-прежнему шелест деревьев, желанны жаркие лучи солнца, бесконечно дороги те, кого навеки оставил. Но – знает он, что шелестят деревья, вслушивается и... ничего не слышит; – ищет солнечных лучей и... не находит, не видит. Хотел бы он коснуться любимых, отереть их слезы, сказать им ласковое слово, шуткою вызвать улыбку. Но – ничего не выходит: он бестелесен, безвиден, бессилен. Живет ли он? – Нет, живут лишь люди, а не призраки. Мертв ли? – Только для живых его нет, и мучительно хочет он жить.

29. Чтобы жить, нужно тело, нужна горячая кровь. Около пролитой дымящейся крови толпятся бледные тени. Лунною ночью, обернувшись белогубым упырем или черной мухой, прилетает к спящему скорбная тень. Неслышно приникает она к нему и медленно тянет его густую соленую кровь. Мечется спящий, пытается выговорить какое-то слово, а она пьет его кровь и, напившись, возвращается на родную любимую землю.

30. Вот почему, милая читательница, Вам следует меня опасаться. – Если Вы, не боясь метафизики, ненароком меня полюбите, я выпью Вашу кровь, высосу Вас, как бесстрастный паук высасывает муху. Ваша кровь мне нужна, чтобы вернуться в мое прошлое. Не полагайтесь на то, что с виду я совсем не противен и не демоничен, напротив – нежен. Отыскав в Вас черты сходства с Элените, я сам поверю, что люблю Вас ради Вас самих; и мы вместе сочиним какую-нибудь очень глубокую и красивую теорию любви. Все худое случится не по моей воле – само собою: отравивший меня яд отравит и Вас. Такова уж судьба бескровной тени – метафизика, а по родству с ним и поэта.

Не верь, не верь поэту, дева,
Его своим ты не зови,
И пуще Божеского гнева
Страшись поэтовой любви!

Вы, наверно, целиком читали эти стихи. Но если Вы и прощаете поэту некоторое его кокетство, то все же не поддавайтесь чарам таланта и, во всяком случае, не доверяйте его довольно-таки двусмысленному обещанию «не нарушать твоей святости». Оно явно не согласуется с характеристикой поэтом его любви, ради чего я и напомнил Вам о данном стихотворении. Любящий и любимый поэт —

...не змеею сердце жалит,
А, как пчела, его сосет.

Прекрасный и смелый образ! Но к чему, скажите мне, опорочена ни в чем не повинная пчелка? Дело вовсе не в ней, а в методическом высасывании крови. Укус самой ядовитой змеи во много раз легче. Как всегда, поэт не понимает смысла данного ему откровения; и образ его оправдан лишь тем, что уподобляет девичье сердце, а следовательно, по общеизвестному правилу риторики, и всю деву благоухающему цветку.

31. Однако если сравнение с безобидною пчелою лукаво и не по заслугам прикрашивает поэта, то и «бледная, бескровная тень» (даже – склонная к вампиризму) также еще слишком привлекательный, «романтический» образ. Просто – прокаженный вместо того, чтобы сидеть на гноище и черепком чесать свои струпья, приделся, скрыл за синими очками слезящиеся глаза и лезет целовать здоровых людей. Впрочем, и этот образ может показаться трагически-красивым.

32. Философски рассуждая, все это означает следующее. Человек есть существо умирающее. Смерть его – он сам как собственное тление. Понятно, что, общаясь с другими, он может лишь заражать их трупным ядом, если только это нужно. Ибо и они все так же умирают и тлеют.

33. Но все люди не только «умирают так же, как я». Они не только где-то и когда-то предваряют, сопровождают или повторяют мое умирание в своем, моему лишь подобном. Все это – только внешний вид нашей общей смерти. Умирание – распадение. Окончательная смерть – полный распад. Но дело-то в том, что мы все только распадемся, только умираем, а не распались и не умерли... Были мы чем-то одним с Элените. А теперь вот все дальше и дальше она от меня; и даже голоса подать друг другу не можем: все равно не дозовешься. И одна-ко – вспоминаем, томимся и забыть друг друга не в силах. Какие то тоненькие-тоненькие ниточки связывают всех нас, и живых и мертвых, весь мир, становятся все тоньше, а не рвутся; не ниточки – тоненькие жилки, по которым бежит наша общая кровь. Наши неслышные вздохи сливаются в один тяжелый вздох, наши слабенькие стоны – в невыносимый вопль всего живого, в бессильное проклятие страданиям и смерти. Разве необходимо, чтобы стон человечества был одноголосым? – Он может быть и полифоничным. Так еще величественнее.

34. Не рвутся слабые ниточки, а страшно, что вот-вот порвутся. Такие они тоненькие, что их даже не видно. Кажется, точно и совсем их нет... А боится человек одиноко умирать; не берет примера с подышающей собаки. Как несчастная жидовка, цепляется за последнего человека; хочет, чтобы кто-нибудь его пожалел, да и сам иногда пожалеет.

35. Умирание мое, смертная моя тоска – умирание и тоска всех, мира смертная мука. И совсем даже неважно: очень или не очень я сам страдаю. Предположим даже, что, воспользовавшись некоторыми природными своими особенностями, я лишь вообразил себя страдальцем. – Все равно. Как же иначе ощутить и понять нашу общую муку?.. Актер играет трагическую роль. Почему не сыграть ее метафизику? Только в игре открывается беспримесная правда. Зритель должен смотреть не на актера, но на изображаемого актером героя. А Вы, читательница, лучше всего сделаете, подразумевая (не всегда, конечно) под моим «я» весь мир. Мое «я» – его маска.

СОМНЕНИЕ

36. Рассеять бы непроницаемый туман, разорвать магический круг одиночества, вырваться из Асфоделевых полей и на волю и солнце, к живым людям, чтобы жить с ними, не думая о прошлом, не зная о своем умирании!

37. Напрасна и случайна одинокая жизнь и «на казнь обречена». Словно и не по своей воле появился на свет. Словно какой то чародей «воззвал тебя из ничтожества», но оставил в тебе слишком много этого самого ничтожества. Страстью души он не наполнил, но ум-то «сомненьем оковал», если только ум и сомнение не одно и то же. – Ум высмеивает всякую цель и даже себя самого. Пронзительным взглядом умерщвляет он всякое желание. Под этим взглядом забьется, затрепещет сердце, как робкая птичка. И вот уже бесстрастно смотрит ум, как разлагается душа в бесконечное множество боязливых, бессильных, мгновенно умирающих желаний.

Цели нет передо мною.
Пусто сердце, празден ум.
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

38. Долго смотрю на зимнее уже, свинцовое, снежное (но снега нет) небо. Мелькают какие-то блестящие точки. (Доктора, кажется, называют их «mouches volantes»⁷ и объясняют склерозом.) Точек этих множество. Они – неизвестно, откуда и как, – внезапно появляются, не торопясь, но неотвратимо, проплывают по кривой и – неизвестно, куда и как, – пропадают. А солнца нет. И ни одна из них не станет солнцем; и все они не сольются в солнце, хотя, может быть, в них солнце рассеялось.

39. В темной, холодной душе все время возникают желания, утомительно мелькают. То это бесстрастная мысль, за которую прячется еще не осязаемое желание; то – как бы и настоящее желание. Но все равно бессильны. Ни одному не удастся увлечь душу. Ни одно не осуществляется. И слишком их много; и слишком все они противоречивы... Иногда все же выберешь то либо другое (не для убеждения ли себя в том, что можешь не только бессильно хотеть?); но, чем полнее стараешься его пережить, тем скорее оно распадается на множество каких-то безразличных мгновений. И смотришь уже на него со стороны: чувствуешь его как что-то чужое; осуществляешь его автоматически, да и не его, а что-то совсем другое осуществляешь. Лишь на самое коротенькое мгновение обманешь себя: как будто и замрет тоска.

...Но сейчас же разольется она с новой силою, и – опять зияет ненасытная пустота...

40. Скажут: «Это страсть бежит от холодного света разума». – Верно ли? Не разум ли это развращает жизнь? – Разум высмеивает все, даже себя самого, бесстрастно убивает всякое желание. В царстве разума все распадается, рассеивается; и он один, холодный, скользит, как змей, в облаке праха. Ибо разум и есть тот самый древний змий, который хитрыми и гибкими, как его извивающееся тело, словами обманул светловолосую Еву, а цветущий рай превратил в безводную пустыню. Он не смотрит на небо и не видит неба, хотя небо в нем отражается: он пресмыкается. Ему недоступно живое: все он должен сначала умертвить. Он питается прахом, древо жизни делает деревом познания и смерти.

41. Давно-давно была моя душа раем. Зеленело там древо жизни; росли все другие деревья, цветы и травы; летали и пели птицы; скользили в траве красивые змейки, и лениво ползал неповоротливый, глупый змей. Было там все, что должно быть в раю. Солнце – заходило и восходило; ночь сменялась днем, зиму сменяла весна, а на смену осени приходило лето. Зимой все умирало и наступала тишина: покрывал все пушистый снег – ложилась на землю седая борода Божья. Зато весной все воскресало к новой, хотя и той же жизни, так что и была смерть,

⁷ Мелькающие мушки (в глазу) (фр.).

и не была, почему и была блаженною жизнь. Играли и резвились мы там с Элените и любили друг друга не философствуя, без всяких теорий. Часто она взапуски бегала с толстым змеем, а я (мне было на семь лет больше) смотрел и смеялся. Впрочем, и плакали мы, и страдали: какая же любовь без слез и какое счастье без горя? Блаженство слагается из смеха и слез... Дикие звери были тогда как бы и дикими. Все живое как бы истребляло друг друга, но любя – так, что никто не убивал другого, а всякий кормил другого своим собственным телом. Один лев не ел ничего, кроме плодов, и даже предварительно смахивал с них хвостом ни в чем не повинных букашек. Элените хлопала в ладоши и говорила: «Посмотри, какой глупый зверь!» А я – уже нравоучительно – ей говорил: «Как жаль, что у тебя нет хвоста!»

42. Но не умею я рассказать о погибшем моем рае. Помню, что словно был он, но ничего о нем толком не помню. Только глядя в светлые глазки ребенка, смутно вспоминая о чем-то и моем, бесконечно далеком. Себя же ребенком не помню. Впрочем, даже не всякий ребенок об этом напомним, а – только умытый, приодетый, как дети вокруг Иисуса Христа в книжке, по которой меня учили Священной Истории... Не помню себя самого, ибо сам я был и моею душою, и раем, и толстым змеем (львом-то, но уже бесхвостым, остался), и всем, что должно быть в раю. Чужими словами пытаюсь себе самому рассказать о том, о чем невнятно говорит какое-то смутное чувство.

43. Не помню, совсем не помню: как это случилось, что смешной, глупый змей, с которым играла Элените, вдруг оказался змием, «хитрейшим из зверей полевых», лукавым моим разумом. Обвился он вокруг древа жизни, и – оно стало деревом познания и смерти, и сладкие плоды его налились ядом. Задушил змий Элените, разрушил мой рай. Теперь ворочается он в моей душе, развивает свои скользкие кольца, злоумышленный, беспощадный. И нет уже солнца. Лишь зимнее, снежное небо и утомительное мелькание, серая пустота. В ней все растворяется, растворяется и злой змий... Вот он уже не змий, а безвидная бездна... О, если бы он был огнедышащим драконом!

Он – огнедышащий Дракон,
Он – зверь, благословенный Небом.
Немолчно слышен крыльев звон
Над потрясенным им Эребом.
И тень железного крыла
На душу темную легла.
Звенит. Раздвоенный язык
Роняет вниз огонь и серу.
Невыносим, колебля меру,
И шип, и смех, и адский зык.
Свистит, взвываясь, Дракон.
И в небе он, и в бездне он.
И, страшным звоном потрясен,
От темных волн поднялся стон.
Дрожит колеблемая мгла.
Горят глаза в ночи беззвездной.
И тень крыла легла над бездной,
На душу скорбную легла.

44. Это было бы легче; но – если и было, то прошло. Разум совсем не огнедышащий Дракон. Без ярости и без радости, равнодушно и как бы безжизненно умерщвляет и разлагает он всякое желание и высмеивает всякую цель. В его призрачном, зеркальном царстве все распадается и рассеивается колючею ледяною пылью... Удивительно, как еще живет разум, ибо

ведь он – я сам, а я то живу. Живу ли? – Нет желаний, которые бы осуществлялись. Нет веры во что бы то ни было. Порожденное темною душою сомнение вернулось в нее и стало ее безволием. Все бессильно разлагается... – Уныние, тление, которому нет конца; не жизнь и не смерть, а – вечно живущая смерть.

Бессилие

45. В самом деле, как может умереть живущая смерть, раз вечное умирание и есть ее жизнь? Невозможно и представить себе ее конец или начало.

46. «Есть вечная, бессмертная жизнь».

– Что же это за жизнь, если в ней нет умирания? В такой «жизни» ничего не исчезает и, стало быть, ничего и не возникает. В ней нет недосказанного и мимолетного. Любви в ней нет, ибо нечего отдать, нечем пожертвовать: все стоит на месте, неотъемлемое, неизменное. Это не жизнь без смерти, а смерть без жизни: то, чего нет. Трагичен мир, но и прекрасен. – Все убивает и погибает, но из смерти рождается новая жизнь. Неодолим вихрь разрушения; невыносима симфония воплей, проклятий и стонов. «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет». Но не забывает ли мать о смертных своих родовых муках, «ибо новый человек родился в мир»? Не сияющий ли космос восстает из темного хаоса? Да и в самом хаосе, в разрушении и смерти не бьет ли ключом все та же безумно щедрая жизнь? В бесновании бури не слышна ли Божественная тишина?

47. «Неужели тебе еще не приелись все эти светлые космосы и темные хаосы, неодолимые вихри и симфонии воплей, вся эта мишура сентиментального «героизма»? Не в них тишина и покой. Вечная тишина и неизменность в тебе. Она – твоя бессмертная душа, пока плененная умирающим телом. Войди внутрь себя, в свою сокровенную келью. Там найдешь свой желанный, вечный покой».

– Не надо мне твоего «вечного покоя», твоей смерти, прикинувшейся бессмертием! О таком ли покое, о такой ли тишине я говорю? – Слышу Божественную тишину мироздания потому, что меня оглушает его неистовый вопль. Это – вечный покой вечного движения. Иного покоя, иной тишины нет и быть не может... «Войди внутрь себя» – значит: уйди от жизни? «Бессмертная душа» – значит, не тело? До темной кельи не доносится шум моря. В нее не проникают лучи солнца. Из нее не увидишь пестрых лугов, молодой зелени берез. В ней сладковато-затхлый запах ладана, а не живое благоухание Божьих цветов. Бежать от мира, когда, как умирающий за жизнь, хватаешься за все, что выбрасывает на берег безграничный океан?! Не любить милого лица, за которое отдашь душу?! Мать склонилась над колыбелью ребенка; не наглядится на него; не наслушается, как он смеется, вздрагивая маленьким тельцем. А ей предлагают взамен какую-то бесплотную душу! Точно мало издевается над матерью сама жизнь! Ведь вырастет ее ребенок (навряд ли на полное утешение родителям). И никогда уже больше не будет этого беззубого ротика, этого смеха. С грустным умиранием станет мать перебирать выцветшие фотографии. И себе самой побоится сознаться, отчего ей так грустно: не посмеет захотеть, чтобы воскресло прошлое. Отучает жизнь хотеть и надеяться, приучает отказываться от самых естественных желаний.

48. «К чему слащавый образ матери с ребенком? обглоданные поэтами березки? Есть же все-таки бесплотная душа».

– Чем же она смотрит, если у нее нет глаз? Чем слышит, дышит, нюхает цветы? Как без тела чувствует и мыслит? Попробуй представить себе свою «бесплотную» душу. Но пусть уж в ней не будет того, что ты видишь, слышишь, обоняешь. Пусть она – точно высохший профессор философии – «мыслит», однако – так, чтобы не дышало и не напрягалось тело, не билось сердце, чтобы не возникало в ней ни звуков, ни образов, ни знаков, чтобы мысль не отделялась от мысли. – Нет, не существует души, которая бы вместе с тем не была и вечно умирающим телом. Тело же твоё лишь один из живых центров и образов безграничного мира. Мир образует себя в тебе как твоё вечно изменяющееся тело, в нём себя созная и страдая. Он становится твоим телом и перестает быть им, когда оно становится другими телами... Мучительно мне умирание милого мира, ибо это – умирание моей души. Не беспомощная ли, обреченная душа

моя скорбит о победе смерти в грустных глазах бессловесной собаки? Не душа ли моя, охваченная ужасом, кричит голосом ребенка в затравленном собакою зайце? Не она ли трепещет в его предсмертных судорогах?

49. «Бесплотная душа, конечно, – только символ. Он означает, что в другом мире облечешься ты в нетленную плоть».

– В другом мире и в другой плоти не может быть этой моей души. Только из этого тела сознаю я этот мир; только в этом моем теле он так сознает себя и страдает. Зачем же мне верить бессвязным сказкам о непонятных бессмертных душах и нелепых эфирных телах? Люблю этот умирающий мир; люблю земное, совсем неэфирное тело... У Элените, как у Габсбургов, немного выдается нижняя губа, а на верхней – маленькая бородавка. Найдется ли этим «недостаткам» место в «совершенном» эфирном теле?

50. «Если захочешь, будут тебе и габсбургская губа, и бородавка».

– Захочет ли сама Элените?.. Да и все равно: не будет чего-нибудь другого. Всего быть не может – тем более что у эфирного тела, надо полагать, и потребности эфирные. В нетленном теле нет изменения. Я же хочу видеть Элените во всех ее изменениях, во все мгновения ее жизни. Разумеется, не стану мешать тому, чтобы она похорошела: недаром покупал ей цветы и подолгу обсуждал с нею фасон ее платьев. Хочу, чтобы она во всем была лучше других (почему иногда и увлекаюсь другими), но хочу, чтобы она осталась и такою, какою была. Придумай-ка подобное тело! При одной мысли о нем смутился даже св. Григорий Нисский.

51. «Но как же ты тогда сочетаешь отрицание бесплотной души с верой в свое бессмертие?»

– ...которое есть вечное умирание. – Да очень просто...

52. «Ты не можешь представить себе, что умрешь. Никто не может себе этого представить. Тем не менее все умирают».

– Я вовсе не утверждаю, что не умру тою смертью, которою умирают все люди. Такую смерть я легко могу вообразить. Не могу лишь представить себе, чтобы при этом не было меня. Конечно, и я умру, как все. Но это еще неполная, не окончательная смерть.

53. «Значит, останется душа».

– Нет, не душа, а замирающая и беспредельно мучительная жизнь моего тела, сначала неодолимо недвижимого, потом неудержимо разлагающегося. Холодным трупом лежу я в тесном гробу. Сизый дым ладана. Но ладан не заглушает сладковатой вони тлеющего трупа. Черная муха садится на закрытый глаз и медленно ползет. А издали кажется, будто мертвец (т. е. я) широко раскрыл глаз и тихо, не двигая головой, обводит кругом жутким, одноглазым взором... Темно, сыро, душно в земле. Тело мое пухнет, «плывет». Вздывается живот. Лицо отекает. Мозг уже превратился в скользкую жидковатую массу, в гнойник; и в сознании моем вихрем проносятся какие-то ужасные, нелепые образы. В мозгу уверенно шевелятся и с наслаждением его сосут толстые, мне почему-то кажется – красные черви. Разгорается огонь тления. Не могу его остановить, не могу пошевелиться, но все чувствую. – Земная жизнь была только чистилицем. Это же – ад, в котором червь не умирает.

54. «Можно сократить время твоих адских мучений – сжечь твоё тело».

– А есть ли в аду такое же время? Если же нет, – лучше ли вечный огонь? – Посмотри в окошечко крематория: от страшного жара сразу же в невероятном ужасе вздымается труп и, корчась, превращается в прах. Хорошо ли придумал человеческий разум?

55. «Можно сделать из тебя мумию».

– Легче ли мне, если, по земному счислению, мое тело будет гнить не пять, а тысячу лет? Вечности моей этим не сократишь. И чем мерзкая крыса, которая, шлепая хвостом по моим губам, будет грызть кончик моего мумифицированного носа, лучше могильного червя? Быть мощами – особенная мука. Кто знает, легче ли она, чем тление в земле или вечный огонь?

56. «Кончается жизнь тела на земле. Кончатся и посмертные муки. Преходит образ мира сего».

– В том-то и дело, что ничто не кончается. Того, что было и есть, сам Бог не сделает небывшим, ибо Им все живет. Не живи я-умирающий в Боге, меня бы совсем не было: я бы даже не умирал. В Нем вечно мое тело, это самое тело, сейчас ощущаемое мною только в его меняющемся средоточии, этот самый телесный процесс без конца и начала. Конечно, тело мое распадается, даже кости мои обратятся в прах. Но и останется вместе с тем мое тело, останется всякое мгновение его жизни. Сохранится мое сознательное средоточие мира, хотя уже не буду ограничивать себя им так, как теперь, но: из него охвачу еще и весь мир как мою телесность. Рассеется мое нынешнее тело во всем мире, перемешается, срастворится с другими телами, будет в них жить новыми жизнями. Будет оно без конца дробиться. Одни частицы его будут гореть в огне, другие – страдать в людях, зверях, в крысе, в могильном черве. Но, распятое, разъятое, рассеянное во всем мире, останется оно и моим. Сейчас я только со-страдаю омару, которого живьем кипятят для меня и которого я с удовольствием съем. А «там» или «потом» я действительно страдаю его страданием. Впрочем, наверно, и теперь я лишь потому сострадаю бедному омару, что в нем есть частицы и моего тела. Ведь то, что несколько мгновений назад было моим телом, – уже не «только мое». Может быть, покинувшие мое тело его частицы уже в кипятке, как тело омара. Почему либо да воображаю я это; и – бессильно ли воображение Бога? – То, что было моим телом, не перестает быть «моим». То, что еще будет моим телом, – уже «мое».

57. «Боль появляется только у позвоночных. Омар ничего не чувствует и даже не отличает своего тела от внешнего мира. Тебе же дана способность чувствовать боль для того, чтобы и себя ты не съел».

– Тем хуже для меня, если я страдаю в омаре, а он мне даже не сочувствует... Но все это, эту тайну открыл мне Бог устами Авдотьи Ивановны. – Авдотья Ивановна была портниха, подолгу живавшая у нас в семье, – странный, Божий человек. В молодости она много влюблялась – ей много простится, ибо она много любила, – но как-то чужаковато-романтически. Впрочем, ей принадлежит слово, что и «вечерок любви – ничего». Годам к сорока пяти чужаковатость Авдотьи Ивановны превратилась как будто в помешательство (возможно, что это было началом прогрессивного паралича). Так вот, захожу однажды на кухню. Авдотья Ивановна стоит у плиты и задумчиво варит раков. Взглянула на меня немного помешанным взглядом, быстро и рассеянно. Инстинктивно спешу избавиться от жути и довольно бесцельно, даже глупо спрашиваю: «Ну что, Авдотья Ивановна, как?» – «Да вот, варю Вам раков... А знаете ли, Лев Платонович? Варю и думаю: в Писании сказано: «огнь неугасающий». Я и думаю: вон раки-то кипят, шуршат. Это, значит, мы-то и кипим». А у самой такие странные, жуткие, вещие глаза. В застывшем же лице никакого интереса к окружающему.

58. Сейчас уже мучаюсь я во всем мире. Горю в теле несчастной жидовки, жалобно пишу в придавленной мною черной мухе. И я же давлю муху, огнем сжигаю жидовку; и не могу не давить и не сжигать, собственный свой палач и собственная своя жертва. Знаю все это, но пока – «только-ограничено» мое тело, резко отделено от других, а потому не очень еще чувствую: точно вспоминаю. Умерев же – почувствую.

59. Умру, и будет все как-то сразу: и прожитая уже жизнь, и та, которую изживаю, и та, которую еще проживу, и весь мой телесный процесс, и тление моего тела в земле, и весь мир как мое страдающее тело. Не то что не будет времени: время останется, и все будет по времени различаться; но вместе с тем все будет и сразу. Будет же все сразу и как настоящее, и как прошлое, и как будущее. Вновь станет, наконец, и настоящим признание Элените, а вместе с тем и не будет оно прежним. Ведь будет оно вместе со всею мукою, которою кончилось. Сама же Элените будет сразу, хотя и различаясь по времени, и светловолосою Элените, и разлагающимся трупом... Сейчас мысль о неизбежной гибели всего отравляет всякое желание тайным

ядом (впрочем – и обостряет его тоже). А «тогда» сама смерть будет во всяком желании, и – оно останется, но – не знаю: чем будет. Оживет все прошлое, но – для того, чтобы стать средоточием неведомо-ужасной жизни и подлинною вечно-живущею смертью.

60. Вот почему и страшно умереть. Вот почему при одной мысли о смерти – «мгновенно гаснут пятна гнева, жар любострастия бежит». Смерть не конец жизни, а – начало бесконечной адской муки. В смерти все умершее оживает, но как бы только для того, чтобы не исчезло мое сознание, чтобы всецело и подлинно переживал я вечное умирание в бесконечном умирании мира. Разверзается пучина адская; и в ней, как маленькая капля в океане, растворяется бедная моя земная жизнь.

61. Вот он, ад глумливый и смешливый! А Вы-то, дорогая читательница, так мне и поверили на слово. Ведь Вы мне поверили, когда объяснял я Вам смысл моих, часто неуместных, шуточек? – Конечно, поверили. Иначе бы Вы вообразили, что над Вами я издеваюсь, и, пожалуй, с негодованием бросили чтение. Впрочем, я Вам не лгал и сейчас готов повторить то же самое. Только в шутках моих обнаружился еще и другой, до сих пор – сокровенный от Вас и от меня самого смысл. Они – адский аккомпанемент, которым неугомонные чертенята сопровождают мою поэму. Ведь если есть ад, то должны быть и черти. Пора бросить необоснованное сомнение в их бытии.

62. Не могу Вам сказать с полной уверенностью, но иногда мне, право, кажется, что и сам я – кривоносы́й чертяка. Правда, у чертяка копытца, рожки, хвостик и совсем нет задней части тела (так все время передом и вертятся перед людьми); у меня же все в порядке. Но вот почему-то не могу стоять так, чтобы на меня смотрели сзади. А потом – очень уж люблю холодный блеск зеркала. Через зеркало же проходит ближайший путь в ад. Ведь даже ученые должны были признать, что отражение Ваше в зеркале находится на таком же расстоянии вглубь от его поверхности, на каком находитесь перед стеклом Вы сами. Вот и поймите! А тут еще симметрия, которой не понимал сам Кант. Ах, милая читательница! поменьше смотрите в зеркало. Даю Вам совет от чистого сердца, так как если я и чертяка, то все же добрый чертяка. Есть бесенята гораздо хуже. Они и мне не дают покоя. Третий уже год безостановочно звенят в ушах. Доктора опять объясняют это склерозом. Но что знают доктора? И зачем мне верить докторам, раз Вы мне не верите?

63. Вы же все еще не верите, что я – чертяка, верно, памятуя, что дьявол – отец лжи, а все черти лгуны. Но знаете ли Вы, что такое ложь? – Подождите, пока я умру, и придите тогда посмотреть на меня в гробу. Вы увидите, как мое, сейчас довольно благообразное, лицо станет так называемым зеркалом души, т. е. – вместо него Вы увидите страшную маску колдуна. Тогда уже не буду я добрым чертякой... Знаете, как у Гоголя. – Подняли чудотворную икону, и молодой, лихой казак вдруг обернулся проклятым колдуном. Подумайте только, что он пере-чувствовал, когда искажалось его лицо, кривился и нависал над выступившим подбородком нос, прорезывались и лезли изо рта клыки. А стыд-то какой!..

64. Говорю к тому, что и чертей пожалеть надо: и они создания Божьи. Черти гнусны. – Гнусны, конечно; однако же и очень несчастны. – Десять лет слуга верою и правдою служил рыцарю. Все делал и не получал никакого жалованья. Заболела жена рыцаря, и – так опасно, что, по словам доктора, спасти ее можно было только львиным молоком. Но где же возьмешь львиное молоко, когда время не терпит, львы водятся в Африке, а рыцарь с женою жил во Франции? Поведал рыцарь свое горе верному слуге. И вдруг – исчез куда-то слуга, а к вечеру является с бутылкою парного львиного молока. От радости рыцарь сначала даже не подумал, откуда достал его слуга львиное молоко: сразу побежал напоить жену. Однако утром, когда жене полегчало, стал рыцарь сомневаться. Позвал он слугу и велел ему именем Господним сказать, откуда он взял львиное молоко и что он за человек. Под такую клятву должен был слуга сознаться, что он бес; и сказал он, что великое для него утешение жить с сынами человеческими. Но рыцарь побоялся, как бы от такого слуги не вышло вреда его душе, и отказал ему

от места. А чтобы не остаться в долгу перед бесом, дал ему рыцарь за всю его верную службу один червонец. Бес же от червонца решительно отказался и сказал рыцарю: «Купи ты лучше на все мое жалованье колокол и повесь его в твоей церкви на колокольне, чтобы сзывал этот колокол людей на молитву».

65. Хочется бесам хоть немного побыть с людьми, и много некрещенные готовы для этого сделать. Стараются беспьяные развеселить людей, хотя им самим совсем невесело. Они все равно что музыканты на балу. Вы, просвещенная читательница, танцуете, веселитесь, музыканты же для Вашего веселья играют, а иногда даже подтанцовывают и кричат. А им ведь совсем невесело, хотя Вы этого, вероятно, не замечали и только ради хорошего тона не хлопали в ладоши, когда они переставали играть. Так и бесы, и такую же роль играют они в мире. Проказничают же они частью от великой своей скорби, а частью потому, что иначе не будет поэзии. Без чертей поэзия так же невозможна, как Ваши грациозные танцы без музыкантов или джаз-банд без саксофона.

66. Не гоните бесов – тем более что, по самым последним научным изысканиям, особого бесовского мира даже и нет, а бесы – те же люди, хотя и с некоторыми, впрочем – несущественными, особенностями. Народная мудрость давно отметила, что у всякого человека иногда в глазах прыгают чертенята, и предпочитает называть беса «шутком». Во всяком случае, величайшее заблуждение – предполагать, будто бесы мучают грешников в аду. Как они будут мучать других, если это – наслаждение, а они сами мучаются? В аду все равны, и бес там уже не бес. В глубине ада бесов не видно и не слышно. Там все заглушено воем бездны. Даже усмешка не искривляет измученного лица. Вечная безысходная скорбь уже не в силах преодолевать себя смехом. Даже не зовешь смерть-утешительницу: все равно – не дозовешься...

Израиль

67. Но кто же обрек меня на вечную муку ада, в котором, как капля в океане, растворяется бедная моя земная жизнь? Кто могучим проклятием своим отдал меня в рабство неодолимой необходимости? Бог ли, милосердно меня создавший?

68. Нечего сказать: хорошо милосердие, хороша Божественная любовь! – Создать меня, даже не осведомившись, хочу ли я этого, и потом обречь меня на вечную муку бессмысленного тления! Может быть, и прекрасно, что неизменная Мошь озарена колеблющимся пламенем ада. Может быть, дивною музыкою звучат в ушах Божьих стоны обезумевших от муки и бес- сильные проклятья вверженных в геенну. Но при чем тут Любовь? Сотворил Себе Бог живую игрушку и забавляется с нею, как тигр с маленьким мышонком; упивается его муками, чтобы насладиться Своим всемогуществом. – А вот и не насладится! ибо я всемогущества Его не признаю. Вот если бы я вверг Бога в ад, мне было бы чем гордиться. А то – Создавший меня из небытия гордится тем, что может без конца надо мной издеваться. Вот так всемогущество!

69. Справедливым-то такого Бога уж никак не назовешь. Пускай Он безмерно сильнее меня – я справедливее. Он карает меня за то, что я нарушал Им же изданный закон, да и закон- то пустяшный. Что такое маленькое яблочко или абрикос по сравнению с Божьим величием? Как ни толкуй этот плод – ничего серьезного не получится. И мог ли я удержаться и не согрешить? – Создан я из ничего; сотворен, видимо, не слишком удачно, раз оказался глупым и немощным. Как же мне было не согрешить! Как мало-мальски разумное существо могло предполагать, что буду я со всею точностью соблюдать не мною выдуманные и мне непонятные законы? Мог ли я подозревать, что Бог, говоривший со мною, как старый добрый Отец, из- за маленькой неосторожности сразу же впадет в ярость, выгонит меня из рая, а из всех Своих даров оставит мне вечность, которая для меня будет вечною мукой? Всезнающий должен был это предвидеть. Объявивший Себя Любовью должен был меня пожалеть. А если хотел Он быть только справедливым, так должен сообразить, что кара непропорциональна вине. – Дал Он мне жизнь, а я согрешил. Ну, отбери ее назад! Умертви меня, верни в небытие! Смерть легче Твоей вечности. – Всемогущества не хватает? Или прав Моисей и Ты испугался, что буду я, как Ты, и, позавидовав, сковал меня, чтобы наслаждаться моим бессилием?

70. Не воображаешь ли, Ветхий Денми, что я мог и не согрешить, что согрешил я свободно? Надо было тогда сперва спросить меня: хочу ли я еще ставить на карту свою жизнь против вечной муки? Ты же, не спросясь, вызвал меня из небытия: создал какой-то комочек, вдунул в него душу и не пускаешь меня назад, да еще называешь меня свободным! Ведь комочек-то каким был, таким и останется, т. е. вечно будет развиваться по необходимым законам своего первозданного естества и никогда свободным не станет.

71. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?»

– Спорю. К чему мне подобострастное благочестие, раз я все одно в аду? В непризнании такого Бога – предел Его могущества и моя свобода, единственное мое сокровище. Может быть, Он ухитрится еще увеличить мою муку: так, что уже ничего не посмею ни сказать, ни подумать. Но сейчас еще могу говорить и говорю на веки вечные: не признаю такого Бога... Теперь вынужденное мое молчание уже ничего не будет стоить.

72. Из глубины Твоего ада, из беспредельной необходимости подымается моя свобода. И как же, как Ты уничтожишь ее? – Умертвишь меня? Разобьешь, неудачливый горшечник, Тобою же сделанный глиняный сосуд? – Ну, не будет меня. Но того то, что был я, Ты не уничтожишь. А для Тебя, кажется, то, что было, и всегда есть. Или вспомнишь о Своем «все-мо-гуществе» и на Себя самого накинешь пелену великого неведения? Что станет тогда с Твоею мудростью? Да и как же тогда Ты будешь – Тот, кто всегда есть? Видишь, до чего доводит самовластное и необдуманное «да будет»?

73.....

– Как?! Отверг Я тебя, проклял Тебя, а Ты – Ты мне говоришь!.. Воем и беснуется ад, Тобою созданный ад, устами моими плюет на Тебя, – Ты же неотвратно на меня глядишь... точно видишь во мне то, чего и сам я не вижу... Проклинаю Тебя, плюю на Тебя, а – Ты мне говоришь!.. —

74.....

– Слова Твои – его тишина?! Нет, Ты лжешь. Это не Твоя тишина. Это море яда и желчи, великое море презренья к Тебе, яростно поднялось и застыло. Это оно, оледенев, гордо молчит и отражает Твой взор, швыряет Тебе назад Твои острые лучи. —

75.....

– Что, что говоришь Ты? Не можешь помочь мне? Ты, всемогущий?.. Да Ты просто издеваешься надо мной. Как же это я сам, я хочу жить? Как я сам создаю себе мою необходимость, адскую муку?.. Потому только и не могу умереть, говоришь Ты, что не хочу?.. Только потому, что люблю Тебя? – Не верю. Ты обманываешь меня, чтобы лучше надо мной посмеяться. Где эта моя любовь? —

76.....

– Да, Ты прав: это все же Твоя тишина... Взор Твой плавит ледяную громаду. Тает она, плачет, сияньем Твоим смеется сквозь слезы... Неужели люблю я Тебя?.. Это опять – Твои слезы... Отчего же Ты плачешь?

77.....

– От радости? Оттого, что любишь меня? я? в проклятиях моих услышал Ты мою любовь к Тебе? Только их Ты и ждал? В них услышал наконец мой свободный ответ на Твой зов?.. Это они-то первый дар моей любви! За них меня сыном Своим называешь!.. Так не Тебя я проклинал? —

78.....

– И не проклинал, а любил?.. Но зачем же тогда Ты создал меня таким бессильным?

79.....

– Сам я не хотел быть сильнее? Сам не хочу жить всею Твоею жизнью?.. Значит, не без моей воли. Ты создал меня: так – точно и сам я свободно возник. Возник Твоею силою, но сам? Не захотел бы, так и не возник бы?.. Но как же это так? – В этой бездне безвидной, которой не было и нет, мог ли быть я, которого ведь тоже не было? —

80.....

– Да, все Твое, все – Ты. Даже свобода моя, даже любовь моя к Тебе: все – только Ты. Нет у меня ничего своего. Пощади меня! – Боюсь понять Твои слова. Страшно дальше искать себя. Там уже ничего больше нет. Там бездна, которой нет. Я на краю ее... О, я не знал, что небытие так ужасно!.. Ты опять прав: люблю жизнь – люблю Тебя. И боюсь: меня нет. —

81.....

– Конечно! Кто же иначе боится не быть? кто любит Тебя? И можешь ли Ты любить того, кого нет, а ведь я – тот, кого Ты любишь? Но могу ли быть я, если все – только Ты?.. погоди, не отвечай... – Вместе с тобой я владею Твоим Божеством. Оно – Ты, но и – наше общее. И пока владею им, а Ты любишь меня – я не Ты и не погибну. Не так ли? —

82.....

– Не потому даже не погибну, что Ты меня любишь, а потому, что я Тебя люблю?.. Но отчего же тогда так я ничтожен? Отчего даже слов Твоих не могу повторить? Себе самому рассказать о Тебе?

83.....

– Мало Тебя люблю? Отделен от Тебя? Далеко? – Но как же далеко, если Ты во мне? если владею Тобой, как самим собою? если только Тобою движусь, дышу, живу и хочу?

84.....

– Разделил Тебя? Взял от Тебя лишь малую часть? – Да разве Тебя можно делить? Ты же неучастняем, и часть Твоя – весь Ты... Только часть Твою захотел и хочу? – Но как же хотеть часть того, что не делится на части? Как хотеть небытия и не небытия, а чего-то третьего, когда третьего нет? Это все равно что сразу и хотеть, и не хотеть. – Не понимаю. Ничего не понимаю. Понимаешь ли эту нелепость Ты сам? —

85.....

– «Сам не знаю: хочу или не хочу, – хочу и не хочу сразу»... Загадочны Твои слова. Но чувствую, неизъяснимым каким-то знанием и безошибочным знаю правду Твоей Любви. И словно тучи клубятся – встает, вспоминается что-то.

86. Из бездны безвидной, пустой и небытной звал меня, еще небытного, голос Твой. Ты мечтал обо мне, как девушка мечтает о своем ребенке, не зная, будет ли он у нее. Называет его по имени, говорит ему ласковые слова, а у самой и жениха еще нет. Ты звал меня, мир небытный, жить Твоею Жизнью, быть Плиромой твоей. Ты уступал, Ты дарил мне всю Свою Жизнь; молил меня стать Богом вместо Тебя. Ты хотел умереть полною, страшною Смертью, тою самою – только бы я жил и вместо Тебя сделался Богом. Ужасала Тебя, вечного Бога, вечная Смерть. Но ради меня, ради мира хотел Ты вечно умирать и навеки, совсем умереть, ибо у Тебя все вечно.

87. Ты говоришь, что, не отзовись я, меня бы не было, а Ты бы так и остался один. – Да, остался бы Ты Один со Своей великой неразделенной Любовью. И все бы звал меня из бездны безвидной: и безутешные бы Ты лил обо мне слезы. И уже не Любовью бы Ты был – что за Любовь, когда некого любить? – но Мукою Божественного одиночества.

88. Как я отозвался, как ответил Тебе – не знаю. Но – словно вспоминается что-то.

89. Молчала небытная бездна. Не было мира, не было меня – ничего не было... Но, отзываясь на зов Твой, что-то в небытной бездне как бы зашевелилось или – только как бы захотело шевельнуться. И послышался из нее ответ, не голос, а как бы еле слышный писк.

90. Как-то раз в одном родильном приюте я проходил по коридору мимо общей палаты. И донесся до меня крик новорожденных, мне показалось – крик множества только что родившихся. Однако все тоненькие голосочки сливались в один тихий, мелодичный и нежный голос. Лишь временами, когда он почти замолкал, выделялся какой-нибудь слабенький голосок, но сейчас же увлекал за собой остальные, и все снова сливались. И все звучали, как одна трогательно-беспомощная, однако не грустная песня... Что то подобное донеслось тогда до Тебя из бездны небытной.

91. Так полюбил меня, еще небытного, Бог, что – кажется мне – веки веков звал и ждал Он меня и все, тоскуя, слушал, не донесется ли из бездны мой голос. Веки веков каждый день творил Он меня, а я все не хотел жить. Слепит Он меня из глины, вдунет в меня дыхание жизни, а оно сейчас же и выйдет назад через одно из отверстий созданного Им тела. И снова принимается Он за бесплодный Свой труд. Но победило наконец Божье терпенье: оказалось, что Бог – Любовь, – немножечко захотел я быть. Обрадовался Бог; забыл о своих неудачах: ликуя и благоухая, сотворил меня.

92. Но так захотел я быть, как быть невозможно. Хотел я чуточку быть, т. е. хотел отрезать себе ничтожный кусочек Бога, а всего Бога не хотел. Иначе: – я сразу и хотел, и не хотел Бога. Ни за что бы не поверил, что мыслима такая нелепость, возможна такая невозможность, если бы и сейчас ее не было. Ведь уже люблю моего Бога, а не могу все же сказать, что очень люблю. Боюсь умереть: жаль всего себя Ему отдать, хотя и знаю, что нет у меня ничего только моего. И все-таки сотворил меня Бог.

93. Как полюбил меня Бог, как полюбил! Невозможное сделал для меня: нелепое мое хотение превратил в бытие. – Он сотворил меня именно таким, каким я хотел быть. Он дал мне ровно столько бытия, сколько я просил: не меньше и не больше. Позволил мне отрезать от Него маленький кусочек, хотя Он и неделим. Он всемогущ и любит меня: хочет всего Себя

мне отдать и мог бы это сделать. Но дать мне больше, чем я хочу, – все равно что сотворить меня против моей воли. Бог же полюбил во мне не автомата, а свободного сына.

94. Да что говорю: «сотворил»! – Бог все еще творит меня и все не может сотворить таким, каким хочет, ибо я все еще сразу и хочу, и не хочу. Все, что во мне, весь «я»: все – Божье и приходит от Бога, как сам Бог. Но во всем я отбираю себе самую малую часть. И это не новое какое-то творение, а то же самое творение. Ибо я – тот же самый во всем моем времени, а для Бога все сразу. Не отступает от меня творческая Божья Любовь; да я-то к ней не приближаюсь. И молча предлагает мне Бог всего Себя, я же отделяю себе кусочек, а от полноты Божьей отворачиваюсь: не требуется. И стоит Он с протянутыми в разъятие тягостным руками, израненный, отверженный мною, оплеванный.

95. Немного понять это можете лишь Вы, чуткая моя читательница. И только Вам расскажу, как обидел я Элените. – Сидели мы на балконе. Виднелись верхушки делеких дерев за рекою. Хотелось мне поцеловать (в первый раз) Элените. Но боялся я и колебался, вспоминал: «твоей святыни не нарушит поэта чистая рука»⁸. Чтобы отвлечься, говорю: «Посмотрите, как прекрасны на фоне лазурного неба зеленые березки». А Элените: «Что тут разговаривать! Целовать надо!» Так и сказала: «целовать». Не любила среднего залога: «целоваться»... Удивительная девушка была Элените, властно-нетерпеливая, валькирия! Победила в себе обиду, горькую и справедливую обиду на меня. Но не победила своей любви и – сломила слабую мою волю... А Бог вот ничего такого не сказал и не говорит, ибо дорога Ему моя свобода и больно Ему видеть меня рабом.

96. Горит и сияет на небе полдневное солнце. Озарена земля; но не приять ей всего сияния солнца: обессиленными возвращает она ему его лучи, а сама темнеет и стынет. – Пылает яростное солнце, разят его огненные лучи. И кажется, будто светлое, все животворящее солнце все и умерщвляет, Аполлон Губитель, Небесный Дракон.

97. Безмерна Божья Ярость. «Страшно впасть в руки Бога живого». Невозможно видеть Его и не умереть. В «облаке густом» только еще близится Бог, а уже – «громы и молнии... и трубный глас весьма сильный». Дымится Синай, и восходит от него дым, как дым из печи; и вся гора сильно колеблется. «Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти».

98. «Узришь лишь задняя Моя, а лицо Мое не будет зримо». – Гнев, ярость лишь «задняя Божья», призрак, предносящийся несовершенному естеству. Бог не разрушает создаваемого Им мира и, проходя, покрывает рукою Своею – Моисея. Это мир не выносит видения Божьей Полноты и разрушается при одном приближении Божества. Бог же никого не умерщвляет, Бог живых, а не мертвых, ибо Он – Любовь.

99. Божественная Любовь Бог. Он – вечное рождение Сына в лоне Отчем, т. е. вечное умирание и смерть Его ради Отца, но и вечное Его Духом Святым воскресение. Бог – вечная жизнь чрез вечную саможертвенную Смерть, – единство и покой бесконечного Своего движения.

100. Но Бог – Любовь большая, чем Божественная. Ради того, чего не было и нет, ради мира, ради меня, да – и ради меня, жертвенно умирает и умер Бог. Что перед этим Самозакланием Божества вопли и стоны мира, адские муки, беснование стихий?

101. Невыносима тяжесть земных, безвозвратных утрат... Ты устала, ты ждешь покоя, надеешься хоть перед смертью один раз полною грудью вздохнуть. – Не жди, не надейся. Все будем в аду, все в аду. И земная твоя мука – лишь предчувствие адской вечной. А весь ад – только маленькая огненная капля из великой чаши Божьих страданий.

102. Малую частицу Божьей Любви принял в себя мир. А уже обезумел от муки и страха. Уже считает, что большего страдания и быть не может, хотя его и боится. А разные лжепророки уверяют несчастных людей, что Бог справедливо карает их за грехи. Не хватает человеческих

⁸ Из стихотворения Ф. И. Тютчева.

грехов для вечного огня: выдумывают новые, обвиняют потерявших от ужаса голову в грехах их отцов. Хульными устами клеветают на Божью Любовь и глупостью подменяют Божью Мудрость. – «Потерпите, пострадайте немного на земле, а главное – под нашим руководством себя немного помучайте. Тогда не будет вам никакого ада. Пользуйтесь временем: время – деньги вечности. Разумеется, на земле плоховато. Зато будете без всяких забот вечно жить в селениях райских. Будете до потери сознания созерцать неизменного Бога и время от времени с наслаждением поглядывать вниз, где корчатся в адском огне ваши мучители и вообще все преуспевшие на земле. Подумайте, как неизреченно блаженство Божье! – Сидит Бог на радуге в натопленном солнечными лучами раю, дремлет и смотрит, как возникают, клубятся и рушатся воображаемые Им миры. Вокруг Него вместо птичек летают и весело насвистывают безногие рафаэлевские херувимчики, а поодаль – человекообразные ангелы не женятся и не посягают, но под неумолчное пение Осанны танцуют "Тщетную предосторожность" и ничем-то Себя Бог не утомляет, и ничего-то особенного не делает».

103. Нет! Это нам самим хочется ленивого и сонного покоя, и выдумываем мы себе ленивого Бога. Тяжел Крест Божий. Не по плечу он миру. Не поднять нам его... Не Бог, а мир ничего не делает. Не Бог полусонно мечтает, а мир. В мире, а не в Боге нет любви, жертвенной – какая еще есть другая? И медленно в мире тянется время, день за днем, год за годом, века за веками.

104. О, если бы мир, если бы я захотел наконец жить полнотою Божественной Жизни! Если бы я, если бы мир захотел Божественно умереть! Не тянулось бы лениво время. Неслось бы оно со стремительною быстротою, как дивные Божьи светила, по бесконечному кругу: смыкало бы начало свое со своим концом. Ничего бы не повторялось, но все бы и двигалось, и стояло; различное было бы сразу. Погибало бы жертвенно все и воскресало, т. е. вечно бы жило блаженною жизнью чрез смерть. А великою силою Жертвы все было бы всем. Всему миру, малюсенькой букашке – с безмерною мукой, но и радуясь безмерно – отдавал бы я всего себя; блаженно бы умирал за всех: и за паука, и за гада, и за черную муху. А они бы все – и ленивый змей, и хлопотливая букашка – все спешили меня воскресить своей жертвенной смертью и воскрешали. Но я бы заранее о том не знал или – как бы не знал: жертвенна ли смерть, если наверно знаешь, что воскреснешь? А как бы радостно встречались мы на нашей, все той же земле! Смеялись бы и плакали от радости: так, что не успевали бы поплакать от горя. Всех бы, всех я любил. Никто бы мне не был противен. Ведь противное – то же, что и мучительное. А страшна ли мне самая сильная мука, раз я тебя люблю? Смеялся бы я от удивления, что вот: любит меня забавная козявка, на самом же деле не козявка любит, а Бог, и только представился Бог козявкой. И сам бы я – страшно подумать! – был Богом. Как бы удивлялся я! как бы за это любил Бога!

105. Но не захотел, не захочу я всего этого! Не хочет всего этого мир! Тяжела ноша Божья... не по плечу... не поднять...

106. Звал Бог небытный мир из небытной бездны, являя ей, слепой, сиянье свое. И не явственно, но прозрел что-то мир. Как в облаке густом увидел он сияние Божье. И такое это было сиянье, такая это была Элените, что устремился к Божьему сиянию мир. Но взглянул еще раз – увидел сияющий Крест и весь от ужаса содрогнулся. Столько было в этой пылающей Любви невыразимой Муки. Хотел мир объять эту страждущую Любовь и – не хотел. И устремился к ней и отпрянул: немного лишь сдвинулся с места... Невыносимая тоска мира о том, что боится, не хочет он приять Бога, сгущалась в черные тучи, остывала и твердела в черную землю. Но верилось, что захочешь и – станет сил объять Божью Любовь: загорались бесчисленные звезды, рассеивалась в них мечта о Божественном Солнце. И больно было, что мало желанья; плакал мир: падал из черных туч светлый дождь, и выбивали из земли чистые реки, сливались в отражавшее звезды великое море. Горько смеялся мир над своим бессилием и страхом: как черные вороны, метались и кружились бедные бесы. Безвольно мечтал мир,

что будет наконец с Богом: далёко-далёко в прозрачных небесах, еще дальше: там, где уже нет небес, призрачным светом мерцало бесплотное ангельское царство.

Распятый

107. Не сомневайтесь, светловолосая читательница, не качайте с недоверием головой. Вам кажется странным «жить, чтоб мыслить и страдать⁹». Я постарше и хорошо знаю, что и для Вас нет наслажденья без муки. Не стану Вас смущать преждевременным описанием внутренних противоречий брачной жизни. Но ведь мечтаете же Вы иногда о такой любви, что «всё» ради нее вынесете и «сгорит» в ней Ваша жизнь. Попробуйте выкинуть из грез Ваших «невыносимые» (разумеется – и «красивые») страдания. Сами увидите, какую пресною покажется Вам мечта о любви: просто недостойною Вас покажется. Не стыдитесь этой романтики. Она свойственна и Элените, у которой, по ее собственным словам, «все вполне сознательно». Даже мы, мужчины, не мечтаем о любви без страдания. Недаром в древности, когда хоть в земной любви люди кое-что еще смыслили, Амура изображали со стрелой, а то и с когтями грифона на ногах, а Пеннорожденную считали жестокой богиней.

108. Можно ли вообще наслаждаться, если не страдаешь? – Как следует наслаждаться можно только самым страданием. Возьмите для примера маркиза де Сада. Он, говорят, наслаждался тем, что мучал других. Но ведь, мучая другого, знал же он, что тот страдает? – Не только знал, а и очень даже чувствовал, т. е. сострадал. Сострада же другому, человек, как это из самого слова видно, страдает его страданием, хотя, правда, и в малой степени. Таким образом, маркиз наслаждался тем, что сам себя мучал. И оказывается он двойником писателя Захер Мазоха, который в свою очередь наслаждался тем, что его по собственной его настоятельной просьбе мучали женщины. Так даже случай с унтер-офицерской вдовой представляется вполне возможным и совсем несмешным, хотя, как правило, со-страдание создает страдание, а не наоборот. Мир существует страдая только потому, что Христос ему со-страдает.

109. Всякое страдание связано с разъятием или распадом. Оно немного уже и смерть. Совершенно напрасно люди воображают, что они хотят только жить, а умирать вовсе не хотят. Столь велико недомыслие, что не так давно попытались даже Христово учение исказить, утверждая, будто смысл его в том, чтобы уничтожить смерть. Было бы вполне правильно, если бы при этом говорили о победе над смертью же, т. е. о победе Божественной или полной смерти над неполною. Ибо лишь таким путем и достижима проповеданная Христом Жизнь через Смерть или Богобытие. А то думают спастись от всякой смерти, да еще с помощью разных хитроумных приемов. Но и помимо всего этого большинство только из рабьего страха не обвиняет Господа Бога за то, что не дал Он нам какой то иной жизни: без смерти и страданий. Богу не к чему даже указывать на невозможность подобной нелепости, т. е. все того же противоестественного сочетания «хочу» с «не хочу». – «Чего же, – может Он сказать, – вы еще хотите? Я дал вам именно то, чего вы просили. Хотите жить и наслаждаться еще больше? – Больше страдайте и умирайте. Примите Меня всего».

110. Вне всякого сомнения, хотят люди жизни чрез смерть, наслажденья страданием или блаженства, но только сами не знают, чего хотят. Разделились они с Богом, разделили Его и потому всё уже разделяют. Одного и того же – Божьей Жизни чрез Смерть – сразу и хотят они, и не хотят, внутренне разделяясь. А воображают, двуглазые, будто хотят одного: жизни и наслаждений, не хотят же другого: смерти и страданий. Думают они, будто сами, по доброй воле живут и наслаждаются, а смерть и страдание – лишь роковые следствия, уповательно устранимые. И вместо того, чтобы подойти к Богобытию с другого конца: со стороны страданий и смерти, – измышляют они, будто не по доброй воле страдают и умирают, а кто-то их мучает и умерщвляет, Бог или дьявол. Конечно, дьявол, т. е. лукавый змий, – «человеко-убийца

⁹ Фраза «жить, чтоб мыслить и страдать» – это строка из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), написанного в 1830 году.

искони»¹⁰. Но он убивает в нас настоящего человека, причисляя его к сонму бесплотных ангелов: убивает тем, что лжет нам, выдавая за истинную жизнь вечно живущую смерть. Верно он сказал: «не умрете», – но лукаво умолчал: «и жить не будете»; правильную же мысль: «будете Богом» – извратил, употребив множественное число и не к месту прибавив «как бы», хотя Бог восхотел, чтобы мы были не «как бы Им», а – Им и вместо Него. Солгал змий, а мы- то, дорогая читательница, так ему и поверили на слово... Конечно, поверили или (что – то же самое) сами себя обманули: вместо всего Богобытия взяли лишь малую часть, да и ту надвое делим. И не понимаем, что, приняв часть Божьей Любви, жертвуем уже собою (хотя и мало), т. е. страдаем и умираем. Без понимания же этого нет, строго говоря, и жертвы: есть только жгучая бессмысленная мука. Бедные мы, глупые мы люди!

111. Впрочем, как же человеку и понять нелепость своего существования? – Подслеповатый разум его жалко пресмыкается, а на небо даже не смотрит. В разуме своем человек истинный дьявол, сам себя обманывает и себе самому лжет. Разобью ли мой разум, зеркало мое, о камень?

112. В Себе самом жертвенно умирает Бог ради другого Себя, умирает до конца: так, что и воскресает. Потому вечно живет Бог Своею Жизнью чрез Смерть. Жертвенно умирающий Бог и есть Божественный Разум. Себя, и только Себя, но ради другого Себя приносит в жертву Божественный Разум, разъединяет, разлагает, распыляет до небытия. Не ленив Он, не медлителен. Не питается прахом, ибо другого жизнью Своею питает, подобный пеликану пустынному. Не пресмыкается по земле, но все объемлет: «И в небе Он, и в бездне Он». И в движении вечном Его, в умирании Его вечном сияет великая Правда Божественной Жертвы.

113. Но, увлеченный бесконечною жалостью к ничтожному миру, ниспал Разум на землю. Обломал и потерял он свои звенящие крылья, угасил пламень свой влажным прахом земли. Змием, истребляющим не себя, но другого себя, стал Разум, холодным, бесстрастным, ленивым, медленно развивающим кольца вечности в прямую, дурную бесконечность. Если бы мог он безумствовать!

114. Разделяю я смерть и жизнь, страданье и наслаждение, ибо, разумничая, разделяю себя; разделяю себя, ибо разделяю себя и Бога; разделяю себя и Бога, ибо мало Бога хочу (хочу и не хочу сразу). Если взять настоящее Божье «хочу», каким бы оно должно быть, то – не хочу я Бога. А это маленькое словечко «не» – глубочайшая тайна. В этом маленьком «не» – все мировое зло.

115. Маленькое «не» в моем «не хочу всего Бога» или даже просто в моем «не хочу Бога» (ибо не мое хотение Его разделяет, но сам Он, неделимый, ради меня Себя разделяет), маленькое мое «не» вовсе не обозначает только недостаток моего хотения. Если бы так было, – Бог бы прибавил мне хотения. Он же любит меня и всемогущ. Не значит маленькое «не» и того, что я отвергаю Бога. Как же могу я отвергать Его, если и живу-то лишь тем, что Его хочу? И уже совсем не означает маленькое «не», что вместо Бога я хочу чего-то другого. Ничего, кроме Бога, во всем свете не сыщешь.

116. Вот какое это «не» маленькое! такое маленькое, что кажется: и совсем его нет. Однако чувствую: виноват в том, что пытаюсь уничтожить мое «хочу» этим «не», – и перед самим собой за него отвечаю. А если отвечаю, то должно оно быть. Следовательно, хочу я это маленькое «не» или – как бы хочу. Но все же удивительным образом оно есть. – Пока не признавал себя за него виноватым, совсем его не было: начал признавать, и оказывается: не есть, а было оно; признал, и – его как бы и не было. Непонятным образом живет оно; уж не так ли, как живущая смерть?

¹⁰ Многие толкователи Евангелия согласны с тем, что в этом месте говорится о грехопадении первых людей. Так святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «В средство погубления человеческого рода употреблена была падшим ангелом ложь (Быт. 3:13). По этой причине Господь назвал диавола ложью, отцем лжи и человекоубийцею искони».

117. Бедная моя читательница, боюсь, что помутилась завитая Ваша головка и что ничего-ничего не понимаете Вы в этом маленьком «не», хотя, по моему мнению, нежному женскому сердцу оно ближе, чем мужскому. Умоляю Вас: сделайте все-таки необычное для Вас умственное усилие: подумайте об этом «не». На мужчин я уже не надеюсь. Они признают все законы логики и не любят совпадения противоречий. Вы же как женщина чувствуете тайну нашей сотворенной природы. Вам свойственна «*logique du coeug*», причиняющая мне столько неприятностей.

118. Какое это хотя и маленькое, а могущественное «не»! – Оно в Вас; а если оно в Вас, то во мне не быть его уже не может. Оно во всякой твари, во всем мироздании. И хотя оно «не», а в нем весь мир как бы одно. Иногда, правда, покажется, что стоит лишь как следует захотеть, и сейчас же не будет проклятого «не»: сразу исчезнет оно и в Вас, и везде. И станете Вы Элените, Элените – Евою, а Ева – всем миром. Ведь только «не» всех разъединяет. Но не уничтожишь «не»: сидит оно и в Вас, и я уже не хочу захотеть. И Элените не Ева, а Вы, к огорчению моему, не Элените. Однако совсем без «не» очень уж большое получится смешенье. Верно, надо не уничтожить его, а заменить «настоящим не» или – отыскать в нем это «настоящее не». Настоящее же «не», конечно, не помешает Вам стать Элените, но помешает Элените стать супругой Адама. Но о «настоящем не» пока еще рано говорить, а Вам, простите, не по силам слушать.

119. Маленькое «не» – вольная леность мира. По вольной лени своей мир не возлетел из бездны небытия к Богу, но выполз из нее, как тощий неповоротливый клоп, уселся на покрывший всю бездну мизинец Божьей ноги, сосет Божью кровь и с места не сходит. Оттого в «не» и прячется страх смерти; оттого из «не» и сочтется уныние. Но лучше назвать маленькое «не» нашим «общим» или «первородным» грехом.

120. Оно – «первородный» наш грех, ибо не без нашей вины и, стало быть, не без нашего «не» появляемся мы на свет. Только святоши уверяют, будто рождается человек потому, что родители его согрешили. Сами, по доброй воле рождаемся. Но так мы рождаемся, что как бы и раньше нас грех наш. Здесь тоже: сознаем мы, что грех был, но не сознаем, что он есть. Во всяком случае, не потому «не» – первородный грех, что согрешил какой то индивидуум, наш праотец, а мы за его гортанобесие отвечаем. Существование подобного праотца более чем сомнительно; да и само имя его по-еврейски значит просто «человек», т. е. человечество: все люди вместе и каждый в отдельности. Что же, в самом деле, это за индивидуум, если у него нет родителей? А если – чудо, так уж лучше допустить, что в человечестве нет ни первого индивидуума, ни последнего. Тогда и получится точно соответствующая вечно живущей смерти дурная бесконечность поколений. Иисус же Христос будет и альфой, и омегой. Что же до ответа за чужие грехи перед Богом, так это и совсем неправдоподобно. – Не Бог меня за мой грех осуждает, а я сам: Богочеловек судит. К тому же Бог говорит мне: «не суди», т. е. «не осуждай другого» (себя то можно). Неужели же Он одною мерою мерит меня, а другою – Себя? выдумывает для меня законы, которых Сам не соблюдает? – Никогда этому не поверю, ибо уже знаю: Бог справедлив. Если же не осуждает Он меня за мои грехи, так станет ли осуждать за чужие? – Конечно, не станет, как и сам я не стану, потому что с меня и собственных моих грехов достаточно.

121. Но в том-то и дело, что чужие грехи для меня не чужие, а мои собственные. Все мы, хотя и каждый по-своему, прибавляем к своему «хочу» одно и то же, незаметное, как тоненькая ниточка, «не». В нем, даже в нем, все мы – один Адам. И если мы как бы и без вины виноваты (ибо лишь «как бы» есть «не»), то все мы друг за друга виноваты. Все грехи – один наш «общий» грех. Во всяком грехе я соучаствую, всяким грешен: во всех и за всех виноват. Яблочко, съеденное Евою, правда, не вполне определенный, но все же и не безобидный плод. До сих пор я его еще жую. Жую вовсе не потому только, что Вы мне его предлагаете и что из чувства куртуазии не могу же я пустить Вас одну блуждать за оградой рая, а и потому, что кажется он мне самым вкусным из земных плодов.

122. Отсюда Вы можете вывести, что, если бы хоть один из нас преодолел маленькое «не», – нигде бы его не осталось, не было бы его даже как бы. Ведь не забудете же Вы, сострадательная читательница, что немного и из-за Вас покинул я рай. Уверен, что когда спасетесь Вы и предстанете пред лицо Божье, то (не в первую и не во вторую очередь, но – все же) поднимете вопрос и о моем спасении. Вы скажете: «На земле остался мой поэт. Он говорил мне много приятного». (О неприятном Вы, став святой, забудете.) «Хочу его видеть здесь». Суровые, убеленные сединами старцы воспротивятся: «Он богохульник и кощун». Попавшие в рай старые девы присовокупят: «Он под предлогом богословия непристойно за Вами волочился». А Вы: «Всем вам несвойственна *«logique du coeur»*¹¹. Вернусь на землю, если его не примете». И знаете, вспыхивая моя читательница: Господь Бог будет на Вашей стороне, старцев припугнет Ваша угроза, со святыми же старицами мы втроем легко справимся.

123. Маленькое, но могущественное «не» и есть зло. Ибо зло или грех не стихийная сила, как умствуют манихеи, а недостаток, вольная немощь. Кажется же зло чем-то потому, что оно недостаток силы или бытия. Смотришь ты на силу, чувствуешь ее недостаток, но не видишь недостатка, которого нет, и путаешь его с самою силою. Потому, пытаясь одолеть зло, ты вместо того, чтобы усилить силу и ею исполниться, бежишь от нее и слабеешь или пытаешься уничтожить силу, которая – добро. Повесил ты злодея, вообразив, что он и есть зло, а зло-то лишь перебралось из него в тебя, и не злодея, но Христа ты повесил. Почему же чувствуем мы недостаток силы, ты и сам далее сообразишь. В Боге же недостатка силы нет: никак не умаляет Он Своего хотения. В Боге либо нет зла, либо оно что-то другое. А в нас во всех зло есть, но – сравнительно.

124. Зло разделяет мир с Богом и разъединяет самый мир. Не совсем разъединен мир. Но единство его во зле особое, не настоящее, а распределительное, и такое малое, что можно его и не заметить. Одна и та же жизнь расплылась во множество как бы и отдельных жизней, как бы и самостоятельных мирков; в каждом же из них она не целостно и даже не в пропорциональном умалении, но словно лишь некоторою своею частью. Всякая тварь живет как бы сама по себе. Связана она со всеми прочими лишь невидимыми ниточками, которые все утоньшаются, а не рвутся. Но и не могут они порваться: не может умереть мир. Зло по-особому – распределительно, – разъединяя его, не дает ему умереть. Зло и есть не-хотение умереть. Оно не страдание мира: страдание – причастие мира, хотя и малое, Божьему Состраданию и страдание Бога в мире. Оно и не наслаждение: наслаждается Бог страданьем Своим. Зло – недостаточность страдания и смерти, разъединения, а потому и единства. Ибо мир должен быть не разъединенностью и не единством, но – всеединством в жизни чрез жертвенную смерть.

125. Как бы не хочет распределяющая себя Жизнь жертвенно умирать в бессмысленном ягненке и напитать голодного льва, которого давно-давно, а может быть, никогда, насытил телом своим мудрый и благочестивый боддисатва. Но эта же жизнь хочет наслаждаться и жить, как бы забыв о муках и смерти, в голодном льве, у которого и на хвосте вырос коготь. Нет мудрого боддисатвы, и лев принужден питаться ягненком. Но такую же нежеланную жалкою смертью погибнет и лев. Может быть, его, уже слепого и старого, подстрелит какойнибудь Тартарен из Тараскона... Не понять глупому ягненку, что смерть его – жертва, созидаящая и его жизнь, которая наслаждается во льве, хвостом заматающем свои следы. Ценою страданий и смерти покупает себе мир жизнь, но не стоит эта жизнь и тридцати серебряников. Ибо лишь в ничтожной мере мир причастен Божественной Жизни, в коей все становится всем. Но, подобный скрывающему свои следы льву, Христос – мудрый агнец.

126. Не сознает мир своего зла ни в бесчувственном камне, ни в рабствующем тлению звере и как бы безвиновен. И боль то позвоночное ощущает для того, чтобы как-нибудь собой не пожертвовать. Но я, человек, осмысляю в себе страдание мира; и весь мир сознает во мне

¹¹ Логика сердца (*фр.*).

свое «не», свой грех, свое зло. Правда, и я – зверь, и звериные мои страсти сильнее меня. Но уже сознаю их малость, уже хотел бы отнять у них маленькое «не». Не их хочу уничтожить, но – только их малость. Не ослабить их должен, но – беспредельно усилить. Так отнял ап. Павел у своей ненависти ко Христу ее маленькое «не», и стала она великою ревностью о Христе, Божьей Любовью.

127. Один испанский инквизитор хотел примерно наказать злую еретичку, которая жила в блуде и еще дерзала утверждать, что Бог простил Иуду. А была она крещеной еврейкой. Долго думал инквизитор, как лучше отомстить ей за многообразное оскорбление Бога. Всякая казнь казалась ему слишком легкой и краткой; и немного опасался он, что Бог все-таки спасет ее душу, ибо с милосердием Божиим ничего почти нельзя предвидеть. Ревность же о Боге и ненависть к еретичке все больше разгорались в сердце инквизитора. Наконец решил он погубить не только тело ее, которое представлялось ему хотя и красивым, но тленным, а и бессмертную душу. И замыслил он сделать ее грех никак не извинимым посредством блудного осквернения архиерейского сана. Приобщившись, призвал он ее к себе и, рискуя собственною душою (ибо мог он, как и случилось, умереть внезапно), предался ее соблазнам: только бы умертвить ее душу. Но, когда еретичка в плотском грехе уже почти умертвила ее, воскликнул инквизитор: «О!.. милая!..» – и тут же испустил дух и окоченел. Хотя умер он без покаяния, вознесен он был в рай, а там через три дня увидел, что она, которую через ненависть огненно и до жертвы возлюбил он, тоже в раю, ибо несправедливо сожгли ее как ведьму, обольстившую и погубившую испанского инквизитора.

128. Люблю тебя и хочу всего себя тебе отдать, умереть за тебя. А ты вот так же любишь меня и того же хочешь. И говоришь: «целовать надо!» Нельзя не принять твоей жертвы, ибо – хочешь ты ее. Но я не твоей жертвы хочу: хочу собой пожертвовать за тебя. Что же тебе мне отдать, когда в твоей жертве тебя как бы и нет? – Хорошо, отдам тебе самое дорогое мое – любовь мою к тебе: не жертвой твоей, палачом твоим буду... Нет, огненный круг охватил нас. Уже не понять: кто палач, кто жертва. Соединяет нас на миг любовь. Не жертвенная ли любовь к тому, кого еще нет?

129. Но лишь на вершинах любви просветляется темная страсть и мерцает Божественный свет... Не виноват я, что – зверь; виноват, что не очеловечил своего зверства, а купил презерватив. Сознаю свой грех, ибо немного хочу быть человеком; грешен – потому, что немного хочу. Многого могу и с малым хотеньем моим. Волка превратил я в доброго верного пса, приручил дикого быка, обуздал коня и даже из тигра сделал безобидного кота-атеиста. Знаю: еще больше могу, и не вижу границ моей мощи. Могу я только любить, только страдать, ни за что умереть. Могу, могу, конечно, могу, да вот... не хочу, и с этим «не» ничего не поделаешь.

130. Ну, хорошо: я не хочу. Но ведь Бог-то, что во мне, хочет без всякого «не». Как же может весь Бог не всецело хотеть?

131. Хочет Бог вполне умереть: жертвенною Своею Любовью всецело обожить мир. Но ради свободы мира не позволяет Он воле Своей всецело проявиться, стать делом. Хочет Он без всякого «не», а принуждает Себя, как раба, делать лишь то, что хочет мир. Не дает Он Себе излить в мир больше любви, чем мир просит. Страдает Он малостью мировой муки: полуживет без надежды на Смерть, вечно умирает в аду. Невыносимым огнем горит Божье Сердце. Всякая радость мира Богу уже не в радость. А мир этого и не замечает. Так сделался Бог человеком и так тайно пребывает в мире, что не знаешь, есть Бог или нет Его. Хочет в тебе Он и говорит, а ты и не знаешь: Бог ли это или ты сам все выдумываешь.

132. Пред самым собой виноват я. Но сознал я свою вину, сознал в ней, как в малости моей жизни, справедливую кару: приятием кары отвергаю вину. И вот уже нет моей вины: я, искусный арифметик, ее аннулировал. Недостаточно хочу умереть – недостаточно живу; мало страдаю – мало и наслаждаюсь. Кажется, все в порядке и вполне справедливо... А вот и не все в порядке!

133. Трижды отрекся св. Петр. Простил его Христос и необыкновенно сказал ему слова. Но во всю свою жизнь не забыл апостол о своем отречении. Всегда красны были его глаза от горьких слез. Пострадал он на кресте, умер и вознесен на небо. Но и там он ничего не забыл. Все красны его глаза. Чем лучше ему, тем горше память о былом. Да и было ли оно? – Св. Петр живет в Боге; для Бога же все, становясь прошлым, остается и настоящим... Всякое слово Божие, всякий взгляд Божий источают в душу св. апостола неизреченную любовь. От сладостной этой Любви не знает даже он, на небе ли он или уже на земле, и плачет, безутешно и радостно плачет навзрыд. Видит: Бог его давно простил, да никогда и не сердился. Видит: смотрит на него Бог с улыбкой, как на провинившегося ребенка. И хочется св. Петру повторить свои же слова: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный!» Но не может он их повторить. А Бог не мешает ему плакать, не отнимает у старика памяти, хотя как всемогущий и мог бы это сделать. Бог знает, что так св. Петру лучше. Не сам ли Господь говорил: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»?

134. Не святой я Петр, да и вообще не святой. А как вспомню о Божьей Любви ко мне... – Ведь Сына за меня отдал; не бесстрастно, не равнодушно отдал, конечно; – это Любовь, а не механика и не комедия, хотя бы и Божественная. Ведь Сын, сам Бог, поднят из-за меня на Крест и, оставленный всеми, Отцу вопиет: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты Меня оставил?» Или ты думаешь, что Христос позабыл о земной Своей жизни, о твоих плевках, о Голгофе? Или вспоминаемое Им такало же полумертвая мысль, как твое воспоминание, а не сама Его жизнь? Не воображаешь ли, что Тело Его – призрак? А ведь хлеб, который ты ешь, и вино, которое пьешь, да и сам ты: все – Его Тело. Или ты тоже призрак?

135. Да, как только вспомню все это, так сейчас же почувствую себя виноватым перед Богом. Нет, Он меня не осуждает и не карает. Он все мне простил, да и не прощал даже, ибо никогда не обвинял. Но: «Знаешь ты, – говорила мне Элените, – что прощен, хотя и нельзя тебе простить, а все-таки – кайся». – Хочу снова пережить мою жизнь: не для того, чтобы пережить, а – чтобы выстрадать все ее ничтожество. Это же Бог во мне страдает, Бога я истязую... Издеваюсь над собой и вдруг – слышу собственный свой голос в толпе на Голгофе: «Других спасал, а Себя не может спасти...» Пью холодное золотистое вино. Но вино уже не вино, а уксус, и я подымаю на трости намоченную в нем губку и даю Ему пить...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.